

От автора *Назови меня своим именем*

# Восемь белых ночей

18+

Андре Ассиман

SE L'AMORE

Андре Асиман

**Восемь белых ночей**

«Popcorn books»

2010

УДК 821.111  
ББК 83.3(7Сое)

**Асиман А.**

Восемь белых ночей / А. Асиман — «Popcorn books»,  
2010 — (SE L'AMORE)

ISBN 978-5-6044580-2-0

Новый роман от автора бестселлера «Назови меня своим именем»! «Восемь белых ночей» – романтическая история о встрече в канун Рождества и любви с первого взгляда. Молодым людям, познакомившимся на вечеринке, суждено провести вместе восемь ночей, в ходе которых они то сближаются, то отдаляются, пытаются понять свои истинные чувства в отношении друг друга. Мастерски исследуя тонкости человеческой природы, Асиман вновь доказывает, что его по праву называют одним из главных американских романистов современности.

УДК 821.111  
ББК 83.3(7Сое)

ISBN 978-5-6044580-2-0

© Асиман А., 2010  
© Popcorn books, 2010

# Содержание

Ночь первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	59

# Андре Асиман

## Восемь белых ночей

André Aciman  
Eight White Nights

Cover design by Magdalena Palej  
© Grupa Wydawnicza Foksal, 2018  
Monument Valley, USA

Credit: Martin Froyda / Shutterstock

High Angle View Of Illuminated Empire State Building And Cityscape Against Clear Sky At Night

Credit: Andrew Barnhart / EyeEm / Getty Images

Copyright © 2010 by André Aciman

All rights reserved

© А. Глебовская, перевод на русский язык, 2020

© Издание, оформление. Popcorn Books, 2020

\* \* \*

Хочу поблагодарить Поля Леклерка, который поддержал меня в самый нужный момент; Центр поддержки ученых и писателей Дороти и Льюиса Калман при Нью-Йоркской публичной библиотеке, предоставивший мне на целый год кабинет; Яддо за его гостеприимство в прекрасном месяце июне два года подряд; моего редактора Джонатана Галасси, моего агента Линн Несбит, мою подругу Синтию Зарин – все они много сделали для создания этой книги. И, наконец, мою жену Сюзан, благодаря которой у меня есть корни, дом, жизнь, любовь и благословение, имя которым – семья.

*Филиппу.*

*Luz u dulzura<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Свет и радость (исп.). – Здесь и далее примеч. пер., кроме оговоренных случаев.

## Ночь первая

Когда ужин перевалил за половину, я понял, что буду пересматривать этот вечер в мыслях, двигаясь вспять: автобус, снег, подъем по пологому склону, собор, замаячивший впереди, незнакомка в лифте, заполненная людьми просторная гостиная, где озаренные светом свечей лица лучились смехом и предвкушением, звуки фортепьяно, певец с горловым голосом, запах сосновой древесины повсюду (я бродил из комнаты в комнату, думая, что, наверное, нужно было сегодня прийти гораздо раньше, или немного позже, или вообще не следовало приходить), классические сепиевые гравюры на стене рядом с уборной; тут же за вращающейся дверью открывался длинный коридор, ведущий в хозяйские комнаты, не предназначенные для гостей, но сделай другой поворот в сторону прихожей – и он, как по волшебству, приводит обратно в ту же гостиную, а там толпа еще гуще, и, оборачиваясь от окна, где я вроде бы обнаружил тихое местечко за большой рождественской елкой, она внезапно протянула мне руку со словами:

– Я – Клара.

«Я – Клара», произнесенное мельком, точно констатация совершенно самоочевидного факта, будто я давно в курсе или должен быть в курсе – и теперь, увидев, что я ее не признал или делаю вид, что не признал, она пытается помочь мне бросить притворство, привязать лицо к имени, которое наверняка упоминали при мне уже много раз.

В устах другого «Я – Клара» прозвучало бы как попытка завязать разговор, робкая, притворно-напористая, внешне небрежная, отстраненная, поданная как мысль, пришедшая задним числом, словесный эквивалент рукопожатия, в котором твердость и самоуверенность заученно воспроизводятся тем, что человек вкладывает силу в движение, по природе своей вялое и безжизненное. От человека застенчивого это «Я – Клара» потребовало бы такого напряжения души, что забрало бы на себя все силы – она бы разве что не испытала благодарности за то, что вы ничего не поняли.

Но в этом «Я – Клара» не было ни напора, ни нахальства, его дополнила хорошо отрепетированная лукавая улыбка человека, который слишком часто произносил эти слова, чтобы переживать за то, как именно они нарушат молчаливое уединение незнакомца. Натянута, безразлично, устало и с оттенком насмешки – над собой, надо мной, над жизнью, которая постановила, что представления должны быть такими вот натянутыми и сдержанными, – слова проскользнули меж нами, точно бессмысленная формальность, которую необходимо совершить, так почему бы и не сейчас, ведь мы стоим в стороне от тех, кто собрался в середине комнаты и того и гляди загорланит песню. Слова ее налетели на меня порывом ветра, который преодолевает все препятствия, распахивает все окна и двери, несет в себе, в самой середине зимнего месяца, аромат апрельских цветов, будоражит всех попавшихся ему на пути с мимолетной фамильярностью человека, который, обращаясь к другим, изображает полное безразличие и беспардонность. Она не ворвалась незваной, не проскочила несколько нудных этапов, однако в двух этих словах была нотка смятения и неистовства, в которой не отыскать ни неуместности, ни непреднамеренности. Слова идеально подходили к ее фигуре, к высокомерию ее вздернутого подбородка, к тонкой, как вуаль, алой блузке, распахнутой до точки схождения ключиц, к великолепию кожи, столь же гладкой и неприкосновенной, как одинокий бриллиант на тонкой платиновой цепочке.

*Я – Клара.* Слова ворвались без приглашения, точно зрительница, которая втискивается в переполненный зал театра за несколько секунд до подъема занавеса, всем мешая, но при этом явственно радуясь вызванному переполоху, и, как только она отыщет место, которое останется за ней до конца сезона, она снимет пальто, набросит его на плечи, повернется к новоявленному соседу и в попытке извиниться за причиненные неудобства, не слишком их подчеркивая, заго-

ворщицки произнесет: «Я – Клара». Значит это: я – та самая Клара, которая будет тут появляться на протяжении всего года, так что давайте привыкать друг к другу. Я – та самая Клара, про которую вы думать не думали, что она будет сидеть рядом с вами, но вот ведь сижу. Я – та самая Клара, которую вам очень захочется видеть здесь в тот самый единственный день каждого месяца до конца этого и любого другого года вашей жизни, я это знаю, примем это за данность, вы, понятное дело, пытаетесь не подать виду, хотя все поняли в тот самый миг, как меня увидели. *Я – Клара.*

В этих словах пересекаются задорное «Неужели вы раньше не знали?» и «Вы чего так смотрите?». Она будто бы наставляет, подобно фокуснику, который хочет обучить ребенка простому трюку: «Вот, возьми это имя, зажми в ладони покрепче, а когда вернешься домой, раскрой ладонь и подумай: “Сегодня я познакомился с Кларой”». Так можно предложить пожилому джентльмену дольку шоколада с орехами в тот самый момент, когда он того и гляди разворчит: «Прежде чем что-то сказать, откусите кусочек». Она пихнула вас в бок, но извинилась еще до того, как вы это почувствовали, так что даже и непонятно, что чему предшествовало, извинение или едва заметный тычок – а может, оба они слились в одном жесте, завившемся спиралью вокруг двух ее слов, точно откровенные угрозы убийством, закамуфлированные под бессмысленные шутки. *Я – Клара.*

Жизнь до. Жизнь после.

Все, что было до Клары, показалось таким блеклым, полым, ненастоящим. То, что после Клары, пугало и завораживало – мираж водоема на другом конце долины с гремучими змеями.

*Я – Клара.* Единственная вещь, которую я усвоил твердо, к которой смогу возвращаться всякий раз, когда решу подумать о ней, и в этом напор, тепло, язвительность и опасность. В два слова уместилось все с ней связанное, как будто они были важным посланием, нацарапанным на обороте тонкого спичечного коробка, который вы засунули в бумажник только потому, что он будет всегда напоминать о том вечере, когда перед вами вдруг раскрылась некая мечта, некая непрожитая жизнь. Может, только о том и речь, об одной лишь мечте, но она всколыхнула столь свирепое желание обрести счастье, что я почти поверил: я действительно был счастлив в тот самый вечер, когда некто ворвался в мою жизнь, притащив за собой аромат апрельских цветов в самой середине зимнего месяца.

Сохранится ли то же ощущение, когда я уйду с вечеринки? Или мне удастся придумать хитрый способ сосредоточиться на мелких изъянах, они начнут меня донимать, заставят втягивать аромат этой мечты, пока она не выдохнется, не лишится лучезарности, а когда лучезарность истаёт, напомнит мне вновь, напомнит снова, что счастье – та единственная вещь, которую другим не дано привнести в нашу жизнь.

*Я – Клара.* Слова вызывали в памяти ее голос, улыбку, лицо, когда в тот вечер она исчезла в толпе, оставив за собой страх, что я ее уже утратил или просто придумал. «Я – Клара», – повторял я про себя, и она вновь становилась Кларой, стояла со мной рядом под наряженной елкой, напористая, теплая, язвительная, опасная.

А я – и это я понял через несколько минут после нашей встречи – уже репетировал расставание навсегда, уже гадал, как забрать это «Я – Клара» с собой, положить в ящик письменного стола рядом с запонками, воротничками, наручными часами и кошельком.

Я учился не верить в то, что это может продлиться еще пять минут, потому что у случившегося были все признаки нереальной, навеянной чарами интерлюдии, в которой новые возможности открываются с недопустимой легкостью и беспечно зазывают в некий закрытый круг, причем он и есть наша собственная жизнь – наша собственная жизнь в том виде, в каком нам хотелось бы ее прожить, а мы обманывали ее на каждом повороте; наша жизнь, наконец-то транспонированная в нужную тональность, пересказанная в правильном грамматическом времени, на языке, который отзывается в нас, конгруэнтен нам и только нам; наша жизнь, наконец-то ставшая реальной и лучезарной, поскольку она прозвучала не в нашем, а в чьем-то

еще голосе, взята из чужой руки, уловлена на лице человека, который ну никак не может быть незнакомцем, но это все-таки незнакомка, она удерживает ваш взгляд своим, а тот говорит: «Сегодня я – лицо, на котором отражается твоя жизнь и то, как ты ее проживешь. Сегодня я – твои глаза, раскрытые в мир, который в ответ смотрит на тебя. Я – Клара».

Он означает: «Возьми мое имя и прошепчи про себя, а через неделю повтори его и посмотри – вдруг на нем выросли кристаллы».

«Я – Клара» – она улыбнулась, будто ее веселили чьи-то только что сказанные слова, и, все еще лучась радостью, почерпнутой из другого контекста, обернулась ко мне за той наряженной елкой и сообщила, как ее зовут, протянула руку, сделала так, что мне захотелось рассмеяться удачной шутке, которой я сам не слышал, но которая исходила от человека, чье чувство юмора точно совпадало с моим.

Вот что означало для меня «Я – Клара». Создалась иллюзия близости, дружбы, прервавшаяся ненадолго и возобновленной с воодушевлением – как будто мы встречались раньше, или пути наши пересекались, но мы почему-то не столкнулись, а теперь нужно во что бы то ни стало познакомиться, а значит, протянув мне руку, она сделала то, что надлежало сделать гораздо раньше, – можно подумать, мы выросли вместе, а потом потеряли друг друга или через многое вместе прошли – например, давным-давно были любовниками, вот только нечто позорное и тривиальное, например смерть, встало между нами, но уж на сей раз она ничего такого не допустит.

«Я – Клара» означало: я тебя уже знаю, это со счетов не сбросить, и, если ты думаешь, что рок не приложил к этому свою руку, ты заблуждаешься. Можем, если хочешь, ограничиться обычными светскими любезностями и сделать вид, что тебе это только померещилось, а можем все бросить, ни на кого не обращать внимания и, точно дети, которые в сочельник строят крошечный шатер посреди переполненной гостиной, шагнуть в мир, лучащийся смехом и предвкушением, где не бывает никаких невзгод, нет места стыду, сомнениям или страху, где все говорится в шутку и с подковыркой, потому что самые серьезные вещи очень часто являются в облинии шалости или шутки.

Я задержал ее руку в своей чуть дольше обычного, чтобы сказать, что я все понял, но выпустил скорее, чем следовало, – из страха, что понимать было нечего.

Таков был мой вклад, мое клеймо на этом вечере, мое запутанное прочтение простого рукопожатия. Если бы она умела читать у меня в душе, то проникла бы взглядом за это притворное безразличие и распознала безразличие иное, куда более глубинное, которое я не люблю развешивать, особенно в присутствии тех, кто двумя словами и взглядом запросто подобрал ключ ко всем моим тайникам.

Мне не пришло в голову, что человек, ворвавшийся в вашу жизнь, с той же легкостью способен вырваться и обратно, когда захочет; что та, что вламывается в концертный зал за несколько секунд до взмаха дирижерской палочки, может ни с того ни с сего встать и побеспокоить всех снова, сообразив, что сидит не в том ряду, а дожидаться антракта не намерена.

Я взглянул на нее. Взглянул ей в лицо. Оно мне было знакомо. Я собирался сказать: «Я тебя где-то видел».

– У тебя вид потерянный, – сказала она.

– Что, заметно? – ответил я. – По-моему, люди часто выглядят потерянными на вечеринках.

– Кто-то больше, кто-то меньше. Вон он – нет. – Она указала на джентльмена средних лет, беседовавшего с дамой. Он опирался о наверняка поддельную каннелированную колонну с коринфской капителью, в руке держал прозрачное питье, стоял, едва ли не привалившись к этой колонне, и явно никуда не спешил. – У него совсем не потерянный. У нее тоже.

*Я – Клара. Я вижу людей насквозь.*

Она окрестила их «мистер и миссис Шукофф»; мистеру и миссис Шукофф аж не терпится сорвать с себя одежду, сказал он, подмигивая, и опустошил бокал, дай мне секундочку – и вперед.

Шукофф: люди, от которых не отвяжешься, хотя очень хочется, объяснила она. Мы рассмеялись.

А потом в манере, лишенной всяческой деликатности, Клара указала на даму за шестьдесят, в длинном красном платье и балетках из черной кожи.

– Бабуля Санта-Клауса. Ты только полюбуйся, – сказала она, указывая на широкий кожаный ремень с золотой пряжкой, охватывавший пузо бабули. А еще на ней был светлый парик, который когда-то явно был блестящим, по бокам он сваялся и затвердел в рога молодого бычка, загибавшиеся вокруг ушей. С мочек свисали две половинки крупных жемчужин в тонкой золотой оправе – миниатюрные летающие тарелки, но без зеленых человечков, так высказалась Клара. Даму она немедленно окрестила Муффи Митфорд, а потом принялась высмеивать эту Муффи Митфорд, причем привлекла к процессу и меня, будто ни на миг не сомневалась, что я соглашусь участвовать в этой тотальной диффамации.

Муффи говорит дребезжащим голосом. Дома Муффи носит голубые шлепанцы с помпонами, присовокупил я. Муффи носит под низ ночную рубашку, всегда под низ – ночную рубашку, добавила Клара. У Муффи нестриженный пудель по имени Сулейман. И муж по прозвищу Чип. А сыночек у нее, понятное дело, Пип. А дочка – Мими. Нет, Пуффи, рифмуется с Муффи. Пуффи Бомон. Урожденная Монтебелло. Нет, Бельмон. Не завирайся, Шенберг, сказала Клара. У Муффи горничная-англичанка. Из Шропшира. Нет, из Ноттингема. Нет, из Восточной Англии. Из Ист-Коукера. Из Литтл-Гиддинга, поправил я. Из Бёрнт-Нортон, поправила она, а если подумать, скорее с Островов. С Майорки, добавила она. И звать ее типа Монсеррат, сказал я. Нет-нет. Долорес-Лус-Берта-Фатима-Консуэло-Хасинта-Фабиола-Инез-Эсмеральда – из тех имен, что никогда не кончаются, потому что вся их магия – в раскачке и каденции, они взмывают и всплескивают, а потом обрушиваются каскадом на фамилию столь же непритязательную, что и песок на пляжах Рокуэя: Родригес – тут мы зашлись от хохота, потому что увидели, как Муффи смеется и шевелит губами в такт певцу с горловым голосом, покачивая свободным концом пояса, свисающим, точно символ плодородия, с ее талии, а ее бокал мартини пуст – и она сказала, подмигнув и проглотив содержимое своего бокала, налей мне еще, и стала смотреть, как я заливаюсь краской.

– Ты знакомый Ганса, да? – спросила она.

– А как ты догадалась?

– Ты не поешь. Я не пою. – Увидев, что до меня не дошло, она пояснила: – Знакомые Ганса не поют. Поют только знакомые Гретхен. – Она вытерла губы салфеткой, словно заглушая последние трепетания интимной шутки, которой не собирается делиться, но брызги которой обязательно должны до вас долететь. – Вот так все просто, – добавила она, совсем уж без всякой деликатности указывая на гостей, сгрудившихся у пианино, – толпа вдохновенно голосила, подтягивая певцу с горловым голосом.

– То есть Гретхен музыкальнее своего мужа, – заметил я небрежно, только чтобы сказать что-нибудь, что угодно, даже если фраза заведет нас в неизбежное молчание. Ответ Клары разнес мои слова в клочья.

– Это Гретхен-то музыкальная? Да она ни одной мелодии не опознает, хоть ты ими пукай ей в уши. Вон посмотри: точно приросла к открытой двери и приветствует всех гостей, потому что не знает, что еще с собой делать.

Тут я внезапно вспомнил неловкое рукопожатие, небрежное приветствие, этот типичный поцелуй в щеку, который ближе к уху, – лишь бы свою косметику не размазать.

Слова ее меня взбаламутили, но я спустил их ей с рук, потому что не придумал ни ответа, ни возражения.

– А ты еще на их лица погляди, – не унималась она, указывая на поющих. Я посмотрел на лица. – Вот ты стал бы петь только потому, что на дворе Рождество и все разевают рты, как золотые рыбки-переростки, которым налили эгг-нога?

Я промолчал.

– Нет, серьезно, – добавила она, то есть вопрос оказался не риторическим. – Ты только погляди на всех этих Евро Шукоффых. Ну вылитые персонажи, которые вечно поют на рождественских вечеринках.

*Я – Клара. Я умею язвить.*

– Так и я пою – иногда, – вставил я нехстати, пытаясь наивностью и безыскусностью подражать тем, кто считал, что нет ничего естественнее, чем петь на вечеринках. Может быть, мне хотелось увидеть, как она откажется от своей инвективы, раз уж и я ненароком попал под обстрел. Или я просто ее дразнил и не хотел, чтобы она заметила, насколько ее циничное отношение к любителям хорового пения совпадает с моим собственным.

– Так и я пою, – произнесла она, поднимая брови, как будто я сказал что-то очень сложное, труднодоступное.

Она слегка кивнула, вдумываясь в глубинный смысл моих слов, и все еще взвешивала их, когда до меня внезапно дошло: она не говорила про себя, она просто повторила мои собственные слова: «Так и я пою» – и швырнула мне их обратно в лицо с издевательски-презрительным переливом: так побитый подарок возвращают в коробке, на которой красуется вмятина.

– Значит, ты поешь, – произнесла она, все еще обдумывая. Или она уже сдавала назад, выпустив свою отравленную стрелу?

– Да. Я иногда пою... – ответил я, стараясь не звучать самодовольно или слишком серьезно. Я сделал вид, что не уловил оскорбительной иронии в ее голосе, и уже собирался добавить: «В душе» – но вовремя сообразил, что во вселенной Клары пение в душе – это именно то, в чем все признаются, если их вынудили признать, что им *иногда* случается петь. Слишком уж предсказуемое высказывание. Я заранее слышал, как она раздергивает на нитки каждое клише в моей фразе.

– Значит, ты поешь, – начала она. – Тогда давай послушаем.

Тут она меня застала врасплох. Я покачал головой.

– Почему? «Плохо поет в коллективе»? – осведомилась она.

– Что-то вроде того.

«Недостаточно старается» оказалось бы слабым ответом на ее шуточку в стиле школьной характеристики, поэтому я этого и не произнес. Зато теперь не мог придумать ничего другого.

Она вновь поколебалась. А потом, глядя мне за плечо, нарушила молчание:

– Хочешь послушать, как я пою?

Эти слова звучали едва ли не вызовом. Мне представлялось, что, высказав такое отращение к знакомым Гретхен и их рождественскому пению, уж сама-то она теперь точно петь не станет. Но я не успел придумать надлежащего ответа – а она уже присоединилась к хору, вот только голос ее совершенно не подходил к лицу, я не мог поверить, что это ее голос, потому что он граничил с полным самозабвением, как будто, запев в тот миг со мной рядом, она обнажила иную, более глубинную сторону души, чтобы напомнить: все, что я до сих пор успел о ней подумать, – от порыва ветра до отравленной стрелы и до иронии с издевкой – одно сплошное заблуждение, у «язвительности» есть и застенчивая сторона, а «опасное» может превратиться в опасливое и мягкосердечное, в ней множество иных, куда более удивительных черт – бессмысленно даже пытаться их перечислить или угадать, бессмысленно вступать в противоборство с человеком, который своим кратким, небрежным «Я – Клара» напомнил мне, что в этом мире существуют люди, которые при всем своем резковатом высокомерии способны, взяв несколько нот, с легкостью убедить вас в том, что они по сути своей добры, искренни и уязвимы, – хотя

при этом нельзя забывать, что именно эта способность перекидываться из одного в другое и делает их смертоносными.

Я был ошарашен – ошарашен голосом, человеком, полной своей неспособностью овладеть ситуацией, удовольствием, которое испытал от того, что меня так легко ошеломить, обезоружить, сбить с толку. Пение исходило не только из ее тела. Казалось, оно вырывает куски и из моего, будто древнее признание, на которое я все еще не способен, ибо оно уходит корнями в детство, будто эхо забытых сказок, наконец-то превратившихся в песню. Что это было за чувство, откуда оно исходило? Почему, слушая ее пение и глядя на расстегнутую алую блузку со слишком открытой, сияющей линией шеи, я захотел и дальше жить под властью этих чар, у самого ее сердца, под сердцем, рядом с моим сердцем, заглядывая тебе в сердце; крошечная подвеска – как хотелось поймать ее губами.

Подобно Улиссу, разгадавшему хитрость сирен, часть моей души все еще выскивала причины, почему не надо поддаваться, не надо верить. Совершенство голоса способно предстать совершенством и ее.

Я быстро сообразил, что ощущаю не одно только восхищение: нет, к нему примешивались благоговение и зависть. Слово «поклонение», как во фразе «Я готов поклоняться таким людям», еще не пришло мне в голову, хотя ближе к концу вечера, когда я стоял с ней рядом, глядя на мерцающую в лунном сиянии баржу, бросившую якорь на белом Гудзоне, я все-таки перешел в *поклонение*. Дело в том, что мирные зимние пейзажи возвышают душу и обезоруживают. Дело в том, что часть моей души уже шагнула на зыбкую территорию, на которой словечко тут, словечко там – любое слово, по сути, – это то последнее, за что можно уцепиться, прежде чем покориться воле куда более могучей, чем наша. Дело в том, что в полном суэты и толкотни зале, где я слушал ее пение, я вдруг обнаружил, что нащупал слово настолько затертое и затасканное, настолько безобидное, что хотелось его проигнорировать, – отчасти потому я его и выбрал: *интересно*.

С ней было *интересно*. Не потому, что она что-то знала, или говорила, или была чем-то особенным, а благодаря тому, как она видела и переиначивала вещи, из-за этой непроявленной заговорщицкой иронии в ее голосе, из-за того, как она одновременно дарила восхищение и обливала презрением, – поди пойми, какой у нее склад ума: блестящий бархат или наждачная бумага. С ней интересно. Хотелось знать больше, услышать больше, стать ближе.

Впрочем, «интересно» – не то слово, которое я искал. Еще бокал спиртного – и слово, которое пробивается наружу, которое того и гляди придет в голову, выскочило бы само столь естественно, столь легко, в столь непринужденной манере, что, не отводя глаз от ее кожи, пока мы стояли у камина и разговаривали, я чувствовал не больше стеснения и смущения, чем сновидец, который входит во сне в переполненный вагон метро, приветствует других пассажиров и не испытывает ни малейшего стыда, глянув на свои ноги и обнаружив, что на нем ни ботинок, ни носков, ни брюк – что от пояса вниз он совершенно голый.

Я поддерживал разговор, чтобы не нужно было говорить то, что хотелось сказать: так косноязычные люди болтают напропалую, когда им не хватает смелости произнести одну верную фразу, которая закроет тему. Чтобы себя окоротить, я заткнулся. Пусть-ка она теперь ведет беседу. А потом, чтобы не перебивать и не произносить то самое слово, я прикусил язык, бездвигнул его. Прикусил не кончик, а самую середину, то был серьезный, внушительный укус, даже стало бы больно, если бы мне было до того, но язык бездвигнулся, а внешний вид рта не изменился. И все же страшно хотелось ее прервать, прервать так, как прерывают, зная: я сейчас огорошу собеседника словом, одновременно изысканным, бесшабашным и непристойным.

Слово это не раз приходило мне на язык. Мне нравилась эта гостиная, снег на Риверсайд-Драйв, нравился мост Джорджа Вашингтона, помечавший расстояние, будто провисшее ожерелье на обнаженной шее, ее ожерелье мне тоже нравилось, нравилась, надо сказать, и шея под ним.

Хотелось сказать, как невероятно мне понравился ее голос, – возможно, сказать только ради того, чтобы перейти к другим вещам, потаенным, непроявленным, – но я надеялся, что они осмелеют и, если я раскрою рот, уведут нас в нужную сторону. Но стоило мне упомянуть ее пение, она меня остановила.

– У меня музыкальный диплом, – сказала она, откровенно отвергая мой комплимент и одновременно подчеркивая его тем самым нетерпением, с которым от него отмахивалась.

Значило это вот что: «Не трудись ничего говорить, я и так знаю. У меня хорошая выучка».

– Пойду в другую комнату. Здесь слишком шумно и душно.

Я смог выдавить из себя лишь задумчивое: «Ладно». Что, все кончилось?

– Пошли в библиотеку. Там потише.

Она хочет, чтобы я шел с ней. Помню, как меня позабавила эта мысль: *значит, она хочет, чтобы я шел с ней.*

Оказалось, что в библиотеке так же людно, вдоль стен опрятно расставлены огромные редкие тома в кожаных переплетах, а между ними – окна и вроде как балкон, выходящий на реку. Видимо, днем именно через эту балконную дверь проникают самые умиротворяющие волны света.

– Я бы тут с удовольствием провел всю жизнь.

– Ты не один такой. Видишь вон тот стол?

– Да.

На столе были расставлены закуски.

– Я за ним писала дипломную работу.

– А еда так и стояла вокруг?

Она бросила мне торопливый кивок, пресекая попытку пошутить.

– У меня добрые воспоминания об этой комнате. Я сидела тут целый год, с девяти до пяти. Мне даже разрешали приходить в выходные. Помню, какие тут и лето, и осень. Помню, как смотрела в окно и видела снег. Потом настал апрель. Время так и летело.

На миг я вообразил себе, как Клара добросовестно приходит сюда зимой, каждое утро, садится за стол и пишет. Носит ли она очки? Погружалась ли она в работу с головой или томилась, скучая весь день одна? Разбегались ли ее мысли, мечтала ли Клара о любви в эти долгие дни в середине зимы? Знакомы ли ей печали?

– Ты правда скучаешь по тем дипломным дням? Большинству людей сама мысль о них ненавистна.

– Не скучаю. Но и ненависти не чувствую.

Вопрос ее, похоже, не заинтересовал. Я как бы подначивал ее сказать, что она хотела бы вернуться в те времена. Или жалеет, что они вообще были в ее жизни. Вместо этого получил безупречно взвешенный ответ. Подумал похвалить: «Какое точное, прямолинейное суждение», но удержался, чтобы не выказать снисходительности или, хуже того, сарказма. На ее месте я бы, наверное, сказал, что ненавижу те дни, но скучаю по каждому из них. Я бы бросил такую эффектную фразу, возможно, затем, чтобы вытянуть что-то из нее или из самого себя или проверить, чутка ли она к парадоксам, увидеть, одинаково ли уверенно мы бредем по болоту настороженных двусмысленностей, произнесенных в попытке поддерживать пустой разговор.

Я, однако, почувствовал, что такой подход в ее мире тоже не годится: все эти разговоры про «скучаю о том, что ненавижу, ненавижу тех, кого любила, хочу того, что с ходу отвергла» – лишь вымученные перекосы и крашенные задники сцены, которые приведут к тому, что она блекло кивнет на прощание.

*Я – Клара.* Какая есть.

– А на чем он строился?

– Диплом?

– Да.

– На этом столе, конечно, на чем еще?

Она вернула мне свое расположение. Спасибо.

– Нет, серьезно, – сказал я.

– В смысле, шла ли в нем речь о диалогическом подходе к маргинализированным женщинам, живущим в гегемонно-моноязыковом мире, колонизированном фаллократическими институтами?

Очень смешно.

– Не об этом, – добавила она.

Краткая пауза.

– Я должен еще раз спросить?

– Тебя никто не просил ничего спрашивать. Но если серьезно – да, ты должен спросить еще раз.

На миг мне показалось, что я ее утратил. Я улыбнулся в ответ.

– Так о чем был твой диплом?

– Тебе правда интересно?

– Нет, я спрашиваю лишь потому, что должен спросить, как ты помнишь.

– О фолии. Такой музыкальный жанр. Ничего интересного.

– Фолия? А человек вроде меня ее когда-нибудь слышал?

– «Человек вроде тебя...» – Она повторила мою фразу так, будто пробовала странный фрукт, с необычным вкусом, который сразу не оценишь, поэтому она и произнесла: – Какие мы умные и проницательные. Я что, уже должна была догадаться, какой ты именно человек?

Прямо в точку. Она распознала уловку в моем вопросе раньше меня самого – попытку сблизить нас, заставить ее как-то высказаться про меня.

*Я – Клара.* Попытка засчитана.

– Ты наверняка слышал фолии – возможно, сам того не зная.

И внезапно опять – ее голос взмыл над гулом толпы, зазвучали торжественные первые такты знаменитой сарабанды Генделя. Я, никогда не понимавший, почему мужчинам нравится, когда женщины им поют, сразу понял, что прозрел навеки.

– Оpozнал?

Да, но не ответил. Вместо этого выдавил: «Мне нравится твой голос» и замешкался – сказать ли что-то еще или, если получится, взять слова обратно. Я вновь брел нагим от полы рубашки и ниже, восхищаясь собственной дерзостью.

– Стандартная мелодия, построенная на стандартной последовательности аккордов, очень похоже на пассакалью. Хочешь пунша? – вставила она, погасив тем самым и мой комплимент, и зачаточную близость, подступавшую из-за кулис. Эти слова она произнесла так отрывисто, что я снова почувствовал: ей хочется, чтобы я понимал, что она намеренно прыгает с темы на тему, но, чтобы это заметить, я должен уловить ее плохо скрытое отвращение к комплинтам.

Маневр вызвал у меня улыбку. Она ее перехватила. А перехватив, улыбнулась в ответ, на грани самоуничтожения, чувствуя, что если хоть чем-то даст понять, что ей ясно: я разгадал смысл ее притворной резкости, – то тем самым признает, что мое прочтение ее притворства ближе к истине, чем ей бы хотелось. Поэтому улыбнулась она одновременно и чтобы признать, что ее подловили, и чтобы показать, что игра ей по вкусу: *какие мы тут оба умные, какие проницательные, а?*

А может быть, улыбкой она показала, что и сама не промах – да, я ее подловил, но она в свою очередь нашла и во мне что-то смешное – а именно то стыдливое удовольствие, которое доставляли мне приливы и отливы недосказанности. Может, в наших недоговорках и вовсе ничего не было, и, наверное, мы оба это знали и просто совершали общепринятый ритуал –

контакт через обмен бессмысленными сигналами. И все же – я даже и не пытался это скрывать – лично я улыбался от уха до уха, на грани со смехом.

И этот маневр она тоже разгадала? Ясно ли ей, что я и рассчитывал, что разгадает?

Между нами повисла нервная пауза, затрепетала колкость, которую она хотела было сказать, но тут же отринула. Неужели она действительно уцепится за эту мою улыбку и заставит выложить все мои соображения по ее поводу – возможно, совершенно превратные? Кто ты такая, Клара?

На миг – возможно, чтобы прокрутить в уме самые худшие варианты и сразу же их отринуть, – я отвлекся, чтобы рассмотреть эту женщину в алой блузке с распахнутым воротом с расстояния грядущих лет – я словно бы махал ей от неправильного конца подзорной трубы. Словно она уже утрачена. Словно я познакомился с ней на некой давней вечеринке, никогда больше не видел и вскорости позабыл. Словно бы ради нее я мог изменить всю свою жизнь. А она могла настолько кардинально поменять курс этой самой жизни, что потребовались бы годы, возможно все мне отпущенные, или даже поколения, чтобы вернуть все на место. Этот взгляд на нее с временного расстояния явил мне прообраз пустых вечеров в январские выходные и целых воскресений без нее. Часть моей души рванулась вперед и вот уже возвращается с новостями о том, что произошло долгое время спустя после ее утраты: прогулки к ее дому и обратно – при том что я понятия не имел, где он находится, вид из ее окна – я отдал бы все, чтобы увидеть его снова, но окно выходило на места, которых я, возможно не видел никогда, – урчание ее кофемолки по утрам, запах кошачьего туалета в ее доме, скрип двери черного хода, когда поздно вечером выносишь мусор и слышишь звяканье ключа в тройном соседском замке, запах ее простыней и полотенец – целый мир, уплывающий прочь еще до того, как я успел к нему прикоснуться.

Тут я внезапно оборвал себя, зная в силу обратной логики, знакомой суеверным людям, что само по себе предвкусие будущих бед содержит в себе определенную дозу предшествующих им радостей – и, вне всякого сомнения, встанет на пути тех самых радостей, о которых я не хочу и помышлять из страха их лишиться. Я чувствовал себя Робинзоном на необитаемом острове, который, увидев с возвышенности парус, решает не разводить костер, потому что слишком уже много перевидал этих проходивших судов и не хочет опять терзаться разбитой надеждой. Но потом все-таки заставляет себя развести огонь и вдруг вспоминает, что на борту полно чужаков, которые могут оказаться куда опаснее питонов и варанов, с обществом которых он уже свыкся. Вечерами по будням все будет не так страшно. Пустые воскресенья тоже не беда. Ничего из этого не выйдет, твердил я себе. Кроме того, мысль, что я ее уже утратил, возможно, снимет повисшее между нами напряжение, позволит мне вновь обрести равновесие и действовать увереннее.

Чего мне не хотелось допускать в мысли, так это надежды, а за надеждой – притяжения столь свирепого, что любой наблюдатель в мгновение ока поймет: я сражен наповал, и неправимо.

Пусть она это видит, мне не жалко. Мне этого даже хочется. Женщины вроде Клары видят, что сразили вас наповал, ожидают этого, пресекают все ваши бесплодные усилия это скрыть. Я не хотел показывать ей другое – свои отчаянные потуги не утратить самообладания.

Парируя ее взгляд, я попытался отвести глаза и изобразить рассеянность. Хотелось услышать ее вопрос, почему я внезапно ушел в себя, хотелось, чтобы ее встревожила опасность потерять меня с той же легкостью, с какой – это я знал – я мог потерять ее. А еще мне хотелось, чтобы она посмеялась надо мной именно за эти самые действия. Хотелось, чтобы она разгадала притворность моего равнодушия, вывела меня на чистую воду и тем самым доказала, что зубок знает правила этой игры, поскольку и сама играла в нее много раз, да и сейчас, видимо, играет тоже. Я вновь прикусил язык, потому что внутри взметнулись разнузданные мысли, стремясь обернуться словами. Вот он я, застенчивый мужчина, симулирующий застенчивость.

– Пунша? – повторила она с видом человека, который шелкает пальцами у вас перед носом и пытается вернуть вас к действительности настырным: «Ку-ку!» – Кто поет, тот и подает, – добавила она, готовая сходить и принести мне напиток.

Я сказал, что она не обязана мне ничего приносить – сам принесу. Я знал, что проявляю ненужную щепетильность и мог бы запросто принять ее предложение. Но, заскользив вниз по этому склону, уже не мог остановиться. Я будто бы твердо решил показать: то, что за мной кто-то ухаживает, мне скорее в тягость, чем в лесть.

– А мне хочется, – настаивала она. – Заодно соберу вкусностей на тарелку... если ты отпустишь меня прямо сейчас, пока эти голосистые обжоры не прискакали и все не подмели, – добавила она, как будто в этом и состояло ее главное побуждение.

– Ну что ты, не надо.

На самом деле мне, видимо, не столько было неприятно гонять ее попусту, сколько хотелось удержать на месте: один шажок – и все может рассыпаться, что-то втиснется между нами, мы лишимся нашего места в библиотеке и никогда не восстановим хрупкого равновесия.

Она спросила снова. Я поймал себя на том, что настаиваю: я сам принесу пунш. В моем голосе зазвучали уклончивость и досада.

И тут случилось то, чего я так боялся.

– Ну ладно. – Она передернула плечами, имея в виду: «Как знаешь». Или хуже того: «Да ну тебя». В ее голосе все еще плескалось веселье, которое окутывало нас лишь мигом раньше, но в нем слышался призыв металла, уже не похожий на иронические переливы и бодрый призыв, – он больше напоминал хлопок рывком задвинутого ящика стола.

Я тут же пожалел, что настроение ее переменялось.

– Так где берут эти вкусности? – выдавил я, пытаюсь вернуть в силу ее исходное предложение, думая, что должна же быть где-то в квартире еда.

– Главное – не уходи никуда, сейчас принесу... – В голосе – притворное раздражение. Я успел бросить взгляд на ее долгую шею, когда она набросила легкомыслие обратно на плечи, будто пальто-перевертыш, вверх обратной стороной «да ну тебя», и наждачная бумага превратилась в бархат. Я подумал: гладить людей против шерсти – ее способ подкрасться поближе, разрядить напряжение выбросом столь мощного собственного заряда, что если она подберется еще ближе, то лишь для того, чтобы дать вам от ворот поворот, однако, давая от ворот поворот, она подкрадывается совсем близко, как дикая кошка, которая не хочет, чтобы вы знали, что она не без удовольствия позволяет себя погладить.

*Я – Клара.* Притворное огрызание. Мое притворное послушание. В темной переполненной комнате, где все тени сливались друг с дружкой, мы вряд ли смогли бы подобрать для себя более естественные роли.

Создавая это ощущение непреходящего смятения, она заставляла вас видеть именно те смыслы, которые задумала, – не потому, что любила настоять на своем, а потому, что рядом с ней все казалось настолько наэлектризованным, щербатым, колючим, что не повестись на ее уловки значило проявить пренебрежение к тому, что составляло ее суть. Тем самым она загоняла вас в угол. Поставить под вопрос ее поведение значило уничтожить не только это поведение, но и человека, который так себя ведет. Даже то, как она выгибала брови, предупреждая, что требует незамедлительной покорности, можно было, если кто спросит, сравнить с тем, как мелкие птички топорщат перья, втрое увеличиваясь в размере, чтобы тщательнее скрыть свой страх перед тем, что не получат желаемого после одной лишь простой просьбы его им дать.

Возможно, все это были одни лишь мои выдумки. Не исключено, что она вообще ничего не скрывала. Ничего не таила, не топорщила, никого не боялась. Просто мне хотелось так думать.

Не исключено, что Клара была именно такой, какой казалась: беспечной, порывистой, собранной, язвительной и опасной. Просто Клара – никаких ролей, никаких игр в догонялки,

никаких попыток тишком подобраться к незнакомцам или хитростью набиться на дружбу или беседу. Изъяном этой ее стратегии быть самой собой и говорить что думает было то, что люди, не привычные к подобной искренности, принимали эту стратегию за позу, думали, что Клара просто лучше других скрывает свою застенчивость, но при этом *внутри* столь же боязлива и не уверена в себе, что это ее нервное поведение – начиная с того, как она опускала локоть мне на плечо, имея в виду: «Не спорь, ладно?», когда я препирался по поводу пунша, до руки, возникшей ниоткуда, было сплошным подлогом – так бриллианты, бывает, блеснут поначалу, и ты уже рассудил, что это стекло, а потом взглядишься, хлопнешь себя по лбу и пытаешься понять, с чего принял их за фальшивку. А подлог – не в них, а в нас.

Есть люди, которые, приблизившись, обязательно оцарапают. Близость начинается с трения, а издевка, как и презрение, – кратчайший путь к сердцу.

Ты не успеваешь договорить фразу, а они уже вырывают ее у тебя изо рта, закручивая совершенно в иную сторону, придавая ей такое звучание, будто она содержит тайный намек на вещи, о которых ты и думать не думал, что тебе их хочется, и запросто прожил бы без них, а теперь – вынь да положь, как вот мне теперь вынь да положь этот бокал пунша, да еще и со вкусами, именно так, как она обещала, как будто весь нынешний вечер и еще очень, очень многое зависит от одного этого бокала.

Простит она мне мою нерешительность? Или она усмотрела в ней победу своей воли? Или вообще не мыслит в таких категориях? А в каких категориях – и почему я сам не умею в них мыслить?

Через миг она исчезла. Я ее утратил.

Мог бы сообразить заранее.

– Ты действительно хочешь пунша? – осведомилась она, возвращаясь, – она несла тарелку, на которой были тщательно разложены японские закуски – россыпь крошечных квадратиков, какую мог составить один только Пауль Клее. Пунша, объяснила она, налить не удалось – слишком толпа густая. – То есть никакого пунша.

Прозвучало это как: «То есть теперь терпи».

Я хотел было ее упрекнуть – не потому, что испытал внезапное разочарование, не потому, что это «то есть» прозвучало немного холодновато, несмотря на беспечность тона, а потому, что мне казалось, будто все эти разговоры – сходить за пуншем, не ходить, все-таки сходить – велись ради одной цели: позабавиться со мной, бросить мне наживку, взлелеять, а потом сокрушить надежды. А теперь, дабы оправдаться за то, что не сдержала обещания – или не потрудилась его сдержать, – она пыталась выставить дело так, будто я с самого начала и не хотел никакого пунша – что было истинной правдой.

Я отметил, что закуски она рассортировала парами и разложила на тарелке аккуратными рядками, можно подумать, тщательно построила очередь для погрузки в Ноев ковчег – тем самым возмещая отсутствие пунша, так я подумал. Миниатюрные роллы с тунцом и авокадо – мужская особь и женская, киви с лофолатилусом – мужская и женская – ломтик жареного грешка с салатным листом поверх нашинкованной брюквы с тамариндовым джемом и лимонной корочкой сверху – мужчину и женщину сотворил их. Едва я объяснил ей, почему этот экстравагантный набор вызвал у меня улыбку, как понял, что в моем замечании по поводу парных лакомств, которые сейчас начнут плодиться и размножаться, есть нечто нахальное – но, не успев еще дать задний ход, я уловил нечто еще, смежное с этой мыслью, и оно всплеснулось у меня в животе, будто я взмыл на гребне высокой волны и обрушился в бездну: не мужская и женская особь, не мужчина и женщина, что топчутся на студеном берегу Черного моря в очереди за билетами на судно компании «Ной», а мужчина и женщина в значении ты и я, ты и я, только ты и я, Клара, мы ждем своей очереди, какой очереди, чьей очереди, скажи что-нибудь поскорей, Клара, или вместо тебя заговорю я, а я слишком мало выпил, мне не

хватит смелости это произнести. Хотелось дотронуться до ее плеча, провести губами вдоль долгой шеи, поцеловать под правым ухом, и под левым ухом, и в ключицу, и поблагодарить, что разложила закуски на тарелке, что знала заранее, что я подумаю, что подумала вместе со мной – пусть и совсем ничего этого не создавая.

– Честно говоря... – начал я, плохо понимая, что еще добавить, – и осекся, потому что знал: тем самым я привлеку ее внимание.

– Что? – В голосе скрипнула притворная досада.

– На самом деле я пунш терпеть не могу, – сознался я.

Она в свою очередь рассмеялась.

– В таком случае, – она говорила с расстановкой, она тоже знала, как подвесить вопрос, как заставить меня затаить дыхание и дожидаться следующего слова, – я не терплю, просто не-терп-лю – пунш, сангрию, всю дамскую дрянь, которую разливают поварешкой, дайкири, хакири, *vache qui rit*<sup>2</sup>. Меня от них мутит.

Вот так она выдергивала коврик у вас из-под ног в тот самый миг, когда вам казалось, что вы взяли над ней верх в последнем раунде. *Я – Клара. Я тебя все равно переиграю.*

Вопрос, который так и не прозвучал, – видимо, мы оба предполагали, каким будет ответ, – это зачем было столько препираться из-за пунша, если он нам ни к чему.

Опять же, то, что вопрос не прозвучал, могло значить: мы оба подумывали его задать, но отказались от этой мысли. Мы улыбнулись молчаливо заключенному перемирию, улыбнулись, только чтобы улыбнуться, улыбнулись, потому что знали – и каждый хотел, чтобы знал другой, – что запросто ответим на вопрос, зачем препирались из-за пунша, – стоит лишь другому задать этот вопрос хоть намеком.

– Мне вообще вряд ли нравятся люди, которым нравится пунш, – добавил я.

– А, если ты к этому клонишь, – произнесла она, явно чтобы не позволить мне взять верх, – то уж ладно, сознаюсь: мне против шерсти все эти вечеринки, где в самой середине стола красуется миска с пуншем.

Вот такой она мне нравилась.

– А что до людей, которые ходят на вечеринки, где в самой середине стола красуется миска с пуншем, они тебе тоже против шерсти?

– Против шерсти ли мне *тедругие*? – Она подумала. – Ты это хочешь спросить?

Видимо, именно это я и хотел спросить.

– Чаше – да, – сказала она. – Почти все люди – Шукоффы. Кроме тех, которые мне по шерсти. Но пока не станут по, и они тоже – Шукоффы.

Мне страсть как хотелось узнать, какое место я занимаю на шкале Шукоффов, но спросить я не решился.

– А с какой радости ты знакомишься с Шукоффами?

Мне нравилось повторять ее словечки.

– Тебе правда интересно?

Мне было страшно интересно.

– От скуки.

– Скука под рождественской елкой?

Этой невинной подколкой я всего лишь хотел показать, что мне приятно вспоминать о нашей встрече, что я ничего не забыл, что мне пока нравится лелеять тот миг.

– Вероятно. – Она умолкла. Видимо, не любила так вот сразу соглашаться с другими и перед «да» любила вставлять «вероятно». Я уже слышал нарастающий рокот барабана. – Но ты сам подумай, как скучно было бы на этой вечеринке без меня.

Это мне страшно понравилось.

---

<sup>2</sup> Корова, которая смеется (*фр.*). Произносится «ваш ки ри».

– Я бы, наверное, давно ушел, – высказался я.

– Я тебя что, задерживаю?

Вот оно снова – смысл, который не есть истинный смысл, но с тем же успехом может быть и подлинным смыслом.

Нечто умиротворяющее, почти душевное, сквозившее под этими уколами и подначками, взбудоражило меня и заставило почувствовать, что она – родственная душа, которая делит со мной общий загробный мир, снимает слова у меня с языка и, обращаясь с ними ко мне, придает им силу и смысл, которых они не обрели бы, оставь я их при себе. Под маской язвительных мини-истерик слова ее несли в себе нечто одновременно и доброе, и располагающее, напоминая грубые складки проверенного и уютного одеяла, которое принимает нас такими, как есть, знает, как мы спим, что испытали, что видим во сне, чего взыскуем, несколько этого стыдясь, когда остаемся нагими наедине с самими собой. Знала ли это и она?

– Почти все люди похожи на Шукоффов, – произнес я, сам не зная, всерьез или нет. – Хотя, возможно, я не прав.

– Ты всегда такой амфибалентный? – подначила она.

– А ты?

– Я сама это слово изобрела.

*Я – Клара.* Я изобретаю загадки и ложные отгадки.

Я посмотрел в сторону – наверное, чтобы не смотреть на нее. Обвел взглядом лица в библиотеке. В просторное помещение набились типичные гости вечеринок, где в середине монотонной болтовни красуется миска с пуншем. Я вспомнил ее презрительное «Ты глянь-ка на эти лица» – и попытался бросить на них уничижительный взгляд. Тем самым получил повод отвести глаза.

– *Тедругие*, – повторил я, чтобы заполнить паузу, повторив наименование, которое мы присвоили им по молчаливой договоренности, как будто слово это вмещало в себя все, что мы чувствовали по отношению к другим, и вбивало последний гвоздь в гроб нашей неприязни ко всему человечеству. Мы – точно два пришельца, решившие возобновить, пусть и с неохотой, отношения с землянами.

– *Тедругие*, – откликнулась она, все еще не выпуская тарелки, к содержимому которой ни один из нас так и не прикоснулся. Она мне не предлагала, я не решался.

Меня смутило, как она произнесла это «*тедругие*». Не с тем разочарованием, на которое я рассчитывал; слово выцвело в нечто одухотворенное, балансирующее на грани сожаления и прощения.

– Неужели все *тедругие* столь уж ужасны? – спросила она, глядя на меня в ожидании ответа, будто я был экспертом, который провел ее по некоей незнакомой территории, неведомой и неприятной, на которую она забрела лишь потому, что сюда сместился наш разговор. Было ли в этом вежливое несогласие? Или хуже того: упрек?

– Ужасны? Отнюдь, – ответил я. – Необходимы? Не знаю.

Она призадумалась.

– Некоторые – да. В смысле, необходимы. По крайней мере, мне – да. Иногда хочется, чтобы было не так, – хотя в конце мы все равно остаемся одни.

И вновь она произнесла эти слова с такой скорбной искренностью и смирением, будто сознавалась в собственной слабости, которую пыталась преодолеть, но не смогла. Слова ее ранили меня в самое сердце, ибо напомнили: мы – не двое межгалактических странников, которые приземлились в одном и том же загробном мире, нет, – я пришелец, а она первый туземец, который встретил меня, и дружелюбно протянул мне руку, и сейчас отведет в город познакомить с друзьями и родителями. Я понял: ей нравятся и другие, она умеет проявлять терпимость к Шукоффам, пока они не перестанут быть Шукоффами.

– Вот так вот оно с *теми другими*, – добавила она, глядя задумчиво и отрешенно, будто все еще пытаюсь определиться со своим отношением к ним. – Иногда лишь они и стоят между нами и канавой, напоминая, что мы не всегда одни, пусть даже нас разделяют окопы. Так что – да, они очень важны.

– Знаю, – ответил я. Видимо, я слишком далеко зашел, отвергнув человечество во всей его совокупности, нужно было сдать назад. – Я тоже терпеть не могу одиночество.

– Я совершенно не против одиночества, – поправила она. – Люблю быть одна.

Отмела ли она тем самым еще одну мою попытку подравнять наши жизненные позиции? Или, пытаясь трактовать ее слова в рамках собственных представлений, я попросту не понял их смысл? Может, я отчаянно пытаюсь утвердиться в мысли, что она похожа на меня – тогда она окажется менее чужой? Или я пытаюсь стать похожим на нее, чтобы показать, что мы ближе, чем кажется?

– Хоть с ними, хоть без них, пандстрах всегда рядом.

– Пандстрах?

– Страх, имеющий свойства пандемии, – в последний раз замечен в Верхнем Вест-Сайде вечером в воскресенье. Впрочем, его дважды видели и сегодня в середине дня, но не сообщили куда следует. Терпеть не могу середину дня. Просто зима пандстраха нашего.

Тут я вдруг понял – а мог бы понять и гораздо раньше. Ее не тяготило одиночество – не тяготило потому, что тот, кто надолго не остается один, любит оставаться один. Одиночество ей было совершенно неведомо. Я ей позавидовал. Возможно, ее друзья и, надо полагать, любовники или потенциальные любовники не давали ей возможности ощутить одиночество – сама она вовсе не против этого состояния, но любит на него сетовать, как вот человек, объехавший целый свет, с готовностью признается, что не был в Луксоре или Кадисе.

– Я научилась брать от каждого человека лучшее. – И это та, что подходит к совершенно незнакомым людям и приветствует их рукопожатием. В словах не было чванства, скорее приглушенная скорбь по поводу подразумеваемого длинного списка осечек и разочарований. – Я беру все, что они в состоянии дать, при любой возможности.

Пауза.

– А остальное?

Может, она и не то имела в виду, однако я, кажется, уловил намек на непрозвучавшее «но», задрезавшее на конце фразы предупреждением и приманкой.

– Остальное на выброс? – предположил я, пытаясь показать, что достаточно опытен в делах любви и способен опознать ее мысль, а еще что и сам грешен – беру у людей то, что мне нужно, а остальное в утиль.

– На выброс? Пожалуй, – отозвалась она, хотя я, очевидно, не убедил ее тем, что предложил осмыслить.

Наверное, это было с моей стороны грубо и нечестно, потому что, возможно, она не это собиралась добавить. Она лишь рассеянно поддалась на мое предположение, хотя, вероятно, всего лишь собиралась сказать: «Я принимаю людей такими, какие они есть».

Или здесь прозвучало еще более конкретное предостережение: я беру все, что они в состоянии дать, при всякой возможности, так что поберегись – предостережение, которое я пропустил мимо ушей, потому что оно плохо согласовывалось с ее удрученным видом несколькими секундами ранее?

Я собирался было переключить передачу, отметить, что, наверное, мы вообще ничего в жизни не отправляем ни на выброс, ни в утиль и уж тем более не способны разлюбить тех, кого никогда не любили.

– Может, ты и прав, – оборвала меня она. – Мы придерживаем людей до того момента, когда они нам понадобятся, – чтобы они нас поддержали, а не потому, что они нам нужны. Не уверена, что я к людям неизменно добра.

Она напомнила мне о хищных птицах, которые не убивают, а только парализуют добычу, чтобы скормить птенцам.

А что происходит с теми, из кого выдирают лучшее, а остальное выкидывают?

Что происходит с мужчиной, который надоел Кларе?

*Я – Клара.* Я не всегда добра к людям.

Это такой способ расхолодить меня – или предостережение, к которому надлежит отнестись с недоверием?

Может, вся ее жизнь – кишаций вшами окоп, который рядится под модный бутик?

Может быть, сказала она. Некоторые люди всю свою жизнь проводят в окопах. Некоторые из нас проживают свои борения, надежды и любви так близко к окопам, что пропитываются их вонью.

Такой вот вклад она внесла в мой образ окопов. В устах такой женщины он показался мне слишком мрачным, безысходным, не вполне достоверным. Неужели она с ее расстегнутой блузкой, бриллиантовой подвеской и сияющим загорелым телом прямиком с Карибов воспринимает жизнь столь трагически? Или это – ее работа на демонический образ, который я сочинил, чтобы разговор между нами не прервался?

Что она имела в виду под любовями в окопах? Жизнь с кем-то? Жизнь без любви? Жизнь, в которой мы пытаемся кого-то изобрести и всякий раз натываемся не на того? Жизнь слишком со многими? Жизнь, в которой слишком мало или совсем нет людей значимых? Или это жизнь одиночек – их взлеты и падения, жизнь на бивуаках в больших городах в поисках того, что у нас уже язык не повернется назвать любовью, если оно выпрыгнет на нас из соседнего окопа и громко крикнет, что его имя – Клара?

Окопы. С людьми или без. Все равно это окопы. Особенно если речь о свиданиях. Она терпеть не может свидания. Муки-мученские, средоточие пандстраха. Не-терп-лю свиданий. Меня от них *мутит*.

Окопы в середине дня в воскресенье. Вот уж – в этом мы сошлись – настоящие ямы, родители всех сточных канав и лисьих нор. *Les tranchées du dimanche*<sup>3</sup>. Тут их внезапно озарил отсвет французского заката. Виль д'Авре. Коро. Эрик Ромер.

Субботы немногим лучше, сказал я. В субботу за завтраком так или иначе всегда приходит ощущение, что другие счастливее тебя – ведь они другие. Потом – два неизбежных часа в общественной прачечной, где так и хочется сбросить еще и собственную кожу, швырнуть вслед за носками и рачком спрятаться под камень, пока тебе плетут кокон нового «я», – в надежде, что из перестиранных вещей удастся создать себя заново.

Она рассмеялась.

Ее черед: окопы, болото амфибалентности, трясина потребительства, жижа безжизненности – ты обижаешь, тебя обижают, холодное неловкое рукопожатие расставшихся любовников, которые пришли оценить ущерб, покурить вместе, изобразить дружбу, уйти обратно в жизнь без любви.

Мой: сильнее всего нас обычно обижают те, кого мы меньше всего любим. Но в трясинное воскресенье нам даже их не хватает.

Ее: трясина, где не терпится провалиться в сон и так хочется быть рядом с кем-то, с кем угодно. Или с кем-то другим. Или еще когда некто лучше, чем никто, но нет никого, кто лучше.

Мой: трясина – когда проходишь мимо чьего-то дома и вспоминаешь, насколько в нем был несчастен и насколько несчастен теперь, когда больше там не живешь. Дни, со свистом улетевшие в трубу, – но ты бы дорого заплатил, лишь бы их вернуть, пусть теперь тянутся медленнее, а еще ты готов отдать что угодно, чтобы их не было вовсе.

– Высокая амфибалентность.

---

<sup>3</sup> Воскресные окопы (*фр.*).

– Дни, которые я за последнее время не провел в трясине, можно пересчитать по пальцам одной руки, – сказал я. – А для дней в розовом саду хватит одного пальца.

А сейчас ты в трясине?

За словом в карман не лезет.

– Не в трясине, – ответил я. – Но – в подвешенном состоянии. На льду. То ли это капитальный ремонт, то ли полное списание.

Эта фраза ее позабавила. Она поняла, к чему я клоню, пусть даже смыслы и метафоры у нас запутывались все сильнее.

– И когда ты в последний раз был в розовом саду?

Как мне понравился этот переход прямиком к сути, к тому, на что я, собственно, и намекал всю дорогу.

Сказать ей? Да я вообще понял смысл вопроса? Или исходить из того, что мы говорим на одном языке? Можно было сказать: вот он, розовый сад, прямо здесь. Или: и помыслить не мог, что попаду в розовый сад так скоро.

– В середине мая, – услышал я собственный голос.

Как легко выпустить это наружу. Страх разговора о самом себе вдруг показался трусливым и тривиальным – каждое произнесенное сейчас слово было смыслонасыщенным и обнаженным.

– А ты? – спросил я.

– Ну, не знаю. Я в последнее время залегла на дно, просто залегла на дно – как и ты, полагаю. Можно назвать это спячкой, карантин, паузой – за мои грехи, за мое бог знает что. Период *Rekonvaleszenz*<sup>4</sup>, – добавила она, старательно имитируя пришепетывание венских психоаналитиков, которым обязательно употребить многосложное тевтонско-латинское слово вместо простого «выздоровления». – В принципе, тоже на капитальном ремонте. Да и вообще вечеринки – это не мое.

Это меня ошеломило. На мой взгляд, она была просто создана для вечеринок. Что я упустил? Испугавшись, что все наши смыслы запутались и исказились, я спросил:

– Мы ведь с тобой об одном и том же говорим, да?

Позабавленная и без секундной задержки:

– Конечно, и мы это прекрасно знаем.

Это ничего не прояснило, но мне понравился намек на сговор – самая пока волнующая и многообещающая наша общая вещь.

Я смотрел, как она двинулась в другой конец библиотеки, где стояли два шкафа с томиками «Плеяды», явно не читанными. Не похожа она была на человека, испытывающего *муки-мученские*.

– И что ты думаешь?

– Про эти книги?

– Нет, про нее.

Я посмотрел на блондинку, на которую она указывала. Она сказала: ее зовут Бэрил.

– Не знаю. Вроде бы симпатичная, – сказал я.

Я чувствовал: Клара предпочла бы сокрушительную инвективу. Но мне хотелось дать ей понять, что я лишь притворяюсь наивным и просто выдерживаю паузу, прежде чем пустить и это здание на снос. Она не дала мне на это времени.

– Кожа белая, как аспирин, икры размером с папайю, а колени так и стучаются друг о друга – ты ничего не заметил? – спросила она. – Ходит, отключив зад. Смотри.

И Клара передразнила ее походку, оставив руки с тарелкой болтаться в воздухе – как будто это были лапы собаки, пытающейся изобразить человека.

---

<sup>4</sup> Выздоровления (нем.).

*Я – Клара.* Я изобрела томагавк.

– У нее даже речь вразвалку.

– Не заметил.

– В следующий раз обрати внимание на ее ноги.

– В какой следующий раз? – осведомился я, пытаюсь дать понять, что уже покончил с Бэрил и сдал в архив.

– Ну, зная ее, следующий раз не заставит себя долго ждать – она уже давно на тебя пялится.

– На меня?

– А то ты не заметил.

А потом, без предупреждения:

– Пошли вниз, там потише.

Она указала на винтовую лестницу. Я ее напрочь не заметил, хотя и смотрел прямо туда все то время, что мы беседовали в библиотеке. Люблю винтовые лестницы. Почему она не отложила у меня в сознании? *Я – Клара.* Я лишаю людей зрения.

Это была не квартира. Это был дворец, прикидывавшийся квартирой. Лестница оказалась запружена народом. Юноша в тесном темном костюме прислонился к перилам – она его явно знала: он, громко, с легким надрывом воскликнув «Кларушка!», облапил ее обеими руками, она же пыталась спасти от него тарелку, и лицо ее изображало притворное «И думать забудь, это не для тебя».

– Орлу где-нибудь видела?

– Ищешь Орлу – отыщи Тито, – фыркнула она.

– Какая ты вредная. О тебе Ролло спрашивал.

Она пожала плечами.

– Павлу привет передай.

Это был Паблито, пояснила она. Она тут со всеми знакома? Вечеринки – это не ее? Да ну? И тут что, у всех есть прозвища?

Мы стали спускаться дальше, она дала мне руку. Я почувствовал ласку наших ладоней, сознавая, что в этом непрерывном трении пальцев друг о друга столько же дружеского участия, сколько и неразгоревшейся страсти. Ни она, ни я никак это не комментировали, но и прекращать не хотели. Это была не просто игра движений, именно поэтому ни она, ни я не потрудились пресечь или скрыть неубедительное виноватое удовольствие от этого затянувшегося касания.

Внизу она ловко пробилась сквозь толпу и отвела меня в тихое место в одном из эркеров – три крошечные подушки будто бы ждали нас в этом алькове. Она хотела было поставить тарелку между нами, но потом села совсем рядом со мной, а ее опустила на колени. Явно рассчитано на то, чтобы я заметил, подумал я, – соответственно, можно это как-то истолковать.

– Ну?

Я не представлял, о чем она.

Думал я об одном: о ее ключице с переливчатым загаром. Дама с ключицей. Блузка и ключица. До самой ключицы. Ключица эта теплая, что пылко меня манит, – застынь она в безмолвье могилы ледяной, – тебе бы днем являлась, ночью мучила б ознобом, и сердца кровь ты б отдала, чтоб жилы мои наполнить алой жизнью вновь<sup>5</sup>. Прикоснуться, провести пальцем по ее ключице. Кто был этой ключицей, что за человек, чья странная воля явилась и остановила меня, когда мне захотелось прижаться губами к этой ключице? Ключица, ключица, тебе ли не спится, весь век по тебе тосковать? Я уперся взглядом ей в глаза и вдруг лишился дара речи,

---

<sup>5</sup> Джон Китс, «Рука живая, теплая, что пылко...», пер. В. Потаповой. – *Примеч. ред.*

мысли спутались. Слова не шли. В голове полная неразбериха. Не получалось сложить одно с другим, я чувствовал себя родителем, который учит карапуза ходить – держит за обе руки и говорит: сперва одну ножку вперед, потом – другую, сперва одно слово, потом – еще, но ребенок ни с места. Я пометался между разными мыслями, а потом замер, онемев – ничего не придумать.

Пусть она все это видит. Потому что и это мне тоже нравится. Еще минута – и мне даже не захочется скрывать, до какой степени меня ошеломил ее взгляд, измочалил, вызвал желание выложить всю подноготную. Еще минута – и я сорвусь, захочу ее поцеловать, попрошу разрешения ее поцеловать, а если она скажет «нет, ни под каким видом», тогда уж и не знаю, но, зная себя, думаю, что попрошу снова. И я знаю, что она знает.

– Ну, – прервала она, – Расскажи мне про младенца возрастом в полгода с неделей в розовом кусте.

Она потрудились сосчитать месяцы. И хотела, чтобы я это знал. Или тем самым она специально сбивает меня с толку, чтобы запутать еще сильнее и заполнить для себя – или для меня – простой выход из молчания, в котором мы оказались?

Не хотелось мне про ребенка в розовом кусте.

– А что? Губы надул, что ли?

Я качнул головой, имея в виду: ничего подобного. Просто пытаюсь ответить поумнее.

– Ты часто находишь любовь? – выпалил я, перекрыв себе путь к отступлению, млея от собственной дерзости и азарта. Обратного пути не было.

– Достаточно. В том или ином виде. Достаточно часто, чтобы не отказываться от поисков, – ответила она без запинки, как будто мой вопрос ее не насторожил и не ошарашил. А потом: – А ты? – спросила она, внезапно срывая покрывало, которое я с такой, мне казалось, ловкостью натянул между нами. Она слишком резко сменила роль допрашиваемого на роль допрашивающего, и, пока я выдумывал подходящий ответ, на губах ее вновь показалась улыбка, как будто мое опрометчивое упоминание про розовый сад в прошлом мае вновь на меня нахлынуло и встало между мною и саваном, который я неуклюже пытался натянуть. Чем отчаяннее я шарил в поисках ответа, тем отчетливее слышал, как она изображает гримасой тиканье часов на какой-нибудь викторине. Если она не домыслила мой ответ раньше, то домыслила теперь, однако отпускать меня так просто не собиралась. Я хотел объяснить, что вообще-то не знаю, где проще находить любовь, в других или в себе, что любовь в долине пандстраха – это не совсем любовь, ее не следует принимать за, путать с, но она отрубилась:

– Время закончилось!

Я смотрел, как она поднимает повыше воображаемый секундомер – большой палец опущен на кнопку «стоп».

– Я думал, у меня еще несколько секунд.

– Спонсоры программы с прискорбием сообщают, что уважаемый гость дисквалифицирован на основании...

Она давала мне последнюю возможность уйти с достоинством.

Я снова попытался слепить какую-нибудь искрометно умную реплику, чтобы выскочить из западни, понимая при этом, что недостаток остроумия мешает мне так же, как и неспособность сказать правду и прервать тем самым свинцовое молчание.

– На основании?... – продолжала она, не выпуская воображаемого секундомера.

– На основании амфибалентности.

– Совершенно верно, на основании амфибалентности. В качестве утешительного приза в студии подготовили этот набор закусок вот на этой тарелке, каковые закуски мы предлагаем упомянутому гостю употребить немедленно, прежде чем ведущая упомянутого шоу стрескает их все до последней.

Я робко протянул два пальца к тарелке.

– Вот эти лучше всех, они без *чеснока*. Мы ненавидим *чеснок*.

– Правда?

– Всею душой.

Не было смысла признаваться, что я, как и все любители петь в душе, приверженец чеснока.

– Тогда и мы ненавидим *чеснок*.

Она указала на крошечный кусочек мясного желе, над которым гривой причесанного морского конька возвышался зубчатый лист.

– Прошу съесть... изысканно!

– В смысле?

– В смысле, если уж есть что-то такое, то обязательно в ступоре и благоговении.

Почему мне казалось, что каждое ее обращенное ко мне слово – это завуалированная, не до конца завуалированная отсылка к ней, к нам?

– И кто это такие? – осведомился я, указывая на квадратные составляющие композиции Пауля Клее.

– Мы не спрашиваем, мы протягиваем руку и берем.

Рот у нее был набит, она медленно жевала, давая понять, что наслаждается каждым кусочком. Ну и странный же человек. Неужели она окажется очередной из тех женщин, которые не могут не напоминать всем и каждому, что они – этакие чувственные торнадо и сдерживают их лишь нестрогие правила приличий, принятые в коктейльный час?

– Манкевич, – прошептала она через минуту.

– Манкевич, – эхом откликнулся я, как будто в слове этом содержался тайный смысл, решительно мне недоступный, но в котором я прозревал синоним к «утонченно».

В первый миг мне показалось, что она говорит о ком-то в этой комнате. Или про закуску, а я просто неправильно расслышал название? Или это мантра, произносимая в момент наслаждения? Манкевич.

– *Qui est Mankiewicz?*<sup>6</sup>

– Манкевич это приготовил.

– Какая-то не японская фамилия.

– А это не японское.

Настал черед миниатюрного биточка – его, предупредила она, нужно крайне аккуратно обмакнуть в крошечную лужицу очень острого сенегальского соуса на тарелке.

– Чтобы только след остался, не больше.

– Обожаю специи.

– Обожает специи.

Я хотел было опустить биточек в рот, но она попросила подождать.

Неужели меня заставят совершать один из тех замысловатых ритуалов, которым привержены люди, недавно вернувшиеся из экзотических стран, – и любят навешивать их на озадаченных сотрапезников?

– Предупреждаю: соус действительно очень острый.

– А ты откуда знаешь?

– Да уж знаю.

Мне понравилась эта переключка наших слов – не только самих слов, но и интонаций, как будто, обменявшись этими парными репликами, мы втянулись в некое магнитное поле, где нужно лишь одно: не противиться. Этот короткий диалог навел меня на мысль о руке, которая поглаживает мягкий ворс на чужом бархатном рукаве, взад-вперед, по шерсти, против шерсти, по шерсти, против шерсти – как будто бессмысленные реплики, которыми мы обменялись,

---

<sup>6</sup> Кто такой Манкевич? (*фр.*)

были всего лишь случайными предметами, подобранными небрежно, перекинутыми из руки в руку, от одного к другому – и значение имели лишь факт передачи и жест, взято – принято, а не слова, не вещи, только взаимосвязь.

– Манкевич, – повторил я, будто бы произнося тост в его честь и салютуя биточком – точно это было темное заклинание, способное отогнать зло. Вспомнились глубоководные ныряльщики, которые сидят на борту лодки и шепчут мантру из одного слова, прежде чем вскинуть оба больших пальца и уйти в воду – вперед головой, вверх ластами.

– Манкевич, – прошептала она, прикидываясь посмурневшей.

Я не сразу сообразил, что нужно было внять ее предостережению, потому что по коже внезапно распространился огонь – сперва загорелся череп, потом жар пополз по загривку. Слезы навернулись на глаза, и прежде, чем я успел придумать, что с ними делать – удержать, принять какую-то позу, выплюнуть пищу, – слезы набухли, покатались по щекам, а пламя во рту разгоралось лишь сильнее, если я пытался жевать или глотать. Я стал нашаривать носовой платок, ощущая сперва беспомощность и унижение, а потом – дикий страх, потому что, сколько я ни ждал, когда пожар уймется, он не стихал – даже после того, как я проглотил биточек полностью, делалось только хуже, как будто первый выброс и вовсе не был пожаром, будто все это не имело к биточку никакого отношения, он стал лишь преамбулой к возгоранию. Неужели станет еще невыносимее? Стошнит ли меня? Будет ли моему телу нанесен непоправимый ущерб? Хотелось вернуть себе самообладание, сказать ей, что со мной происходит, но, видимо, молчание, слезы, терзания ей уже все сказали. Я закинул назад голову – она легла на подоконник, и холодок оказался в тот момент так кстати, что я в своем смятении понял, почему люди любят хаски, почему хаски любят жить на холоде и почему, будь моя воля, я бы с превеликим удовольствием тоже стал хаски, носился бы на воле по ледяным торосам на берегах Гудзона прямо за нашим окном. Спроси меня снова, Клара, чувствую ли я себя нагим и в окопах, – и я отвечу, сколь глубока и смертоносна та бурая траншея, в которую я свалился, как отчаянно я пытаюсь выкарабкаться. Хочу одного: снега, льда, побольше льда.

Клара смотрела на меня в смятении – будто я грохнулся в обморок и понемногу очухивался. Протянула мне кусочек хлеба, который – я только сейчас сообразил – заранее положила на тарелку, чтобы я закусил переперченный биточек. Мне вдруг захотелось, чтобы и ее рот тоже горел тем же огнем. Хотелось, чтобы и она почувствовала то же смятение, потрясение, наготу, чтобы я не один испытывал эти ощущения, ведь если бы у обоих у нас во рту бушевал пожар и слезы струились по лицу, нам удалось бы еще немного сблизиться – без слов, без подколок, без тирад – только два рта, горящих как один, слившихся в любовном экстазе раньше, чем наши тела.

Но она просто сидела, подавшись в мою сторону, спокойная, собранная, возможно с улыбкой, точно сиделка, которая наклоняется над раненым бойцом, чтобы влажной губкой вытереть пот с его лица. Я подумал, что боец может потянуться и взять ее руку, а потом – ведь он потерял так много крови – открыть сердце человеку, который в иных обстоятельствах даже не сказал бы ему, который час. Тревожилась ли она? Или выжидала, пока мне полегчает и можно будет надо мной поиздеваться: предупреждала же, а он разве слушал – он разве слушал? Коснись моего лица губами, Клара, коснись меня своими губами, насмешливыми, язвительными губами, коснись меня большим пальцем, Клара, впейся мне в рот и вытяни оттуда пламя, пальцем и языком.

Усугублял ситуацию стыд. Чем я могу рассеять этот позор – тем, что я всего лишь терзающаяся человеческая плоть? Я попытался утешиться, изобретая в голове утешительные банальности – что ты и есть твое тело, что твое тело знает тебя лучше тебя самого, что выставить все напоказ честнее, чем застилать завесой из слов, что все это – обращение к самой сути. Только не было сил в это поверить.

А может, все оказалось сложнее, чем я думал. Дело в том, что какая-то часть моей души упивалась возможностью показать ей, из чего я свинчен и как легко эту конструкцию разобрать, – трепетная радость от того, что я полностью обнажил перед ней свою сущность, раскрылся, точно учебник анатомии, где один за другим поднимаешь покровы кальки, чтобы разглядеть цвет пожара в моих внутренностях и тихой истерики, свернувшейся клубком возле известных стыдных органов, удовольствие от моего стыда, мелкого, нелепого, перепуганного стыда – стыда, который надеваешь как маску, изо всех сил убеждаешь себя в его реальности и даже пытаешься превозмочь, хотя на самом деле оставил его, как на нудистском пляже, в шкафчике гардероба вместе с бумажником и часами.

Я попытался что-то пробормотать, чтобы скрыть смятение. Однако, подобно оленю у Овидия, пребыл безгласен – ибо сознавал, что вырвется только нечто среднее между хриплым клекотом или жалким шепотом и сделает мое положение еще неліцеприятнее, а потому сделал вид, что лишился голоса. Хотелось застонать. Хотелось, чтобы мы застонали вместе, а потом – стон, стон, стон, будто мы стали оленем и оленихой, что стонут в унисон под небом зимним студеным, где уже вовек не расставаться влюбленным.

Итак, вот ее кусочек хлеба. А вот он я, пытаюсь показать, что хлеб мне совсем не нужен, со мной и раньше такое бывало, я справлюсь, через минутку, сейчас, секундочку, главное – не надо тарашиться, чтобы я не потерял лицо, – раненый боец сам промывает рану и накладывает швы, так-то!

Но она сидела, подобно бдительной сиделке на почасовой оплате – не уйдет, пока пациент не проглотит последнюю прописанную врачом пилюлю.

– Вот, возьми хлеб, – сказала она. – И поддержи во рту, авось поможет.

*Я – Клара, милосердная.*

Я взял его, как порою берут носовой платок, без сопротивления, без гордыни, ибо знал – и именно это скрывалось за моей вымученной улыбкой, – что, вопреки своей воле, вопреки всем раскладам, вопреки всем объяснениям, подошел к обрыву столь близко, что теперь осталась одна забота: сделать так, чтобы спазм, который того и гляди вырвется из горла, не оказался рыданием.

Наконец я проглотил хлеб. Она молча следила за движениями моего кадыка.

Потом она повернулась, посмотрела в окно. Она напоминала мне человека, который считает тебе пульс, глядя в сторону, отсчитывает секунды с отрешенным видом. Я не знал, что делать, и потому повернулся тоже и уставился на Гудзон; плечи наши соприкасались – мы понимали, что это безобидный пустяк, и часть моей души так и рвалась показать, что молчание – самое обычное дело между посторонними людьми, которые познакомились на вечеринке и теперь нуждаются в передышке. Мы ничего не сказали по поводу вида, по поводу знакомых и не знакомых ей людей в комнате, по поводу огоньков, мигавших за рекой в Нью-Джерси, по поводу скорбных льдин, старательно сплавлявшихся по течению, будто разбросанное стадо овечек, пастухом при котором – стоящая на приколе баржа, что провожает их светом бдительного прожектора.

Снаружи, на Риверсайд-драйв, стояли в озерах света одинокие фонарные столбы, блестел снег – они были похожи на потерявшийся хор из греческой трагедии, у каждого застывшего чародея на голове сноп пламени. Мы слишком далеко, казалось, говорили они, так что ничего не слышим, но мы знаем и всегда знали про вас.

Она сказала, что любит свежий воздух. Чуть приоткрыла балконную дверь, в комнату вползла студеной струйка. А она шагнула на оказавшийся очень просторным балкон и тут же закурила сигарету. Я шагнул следом. Курю ли я? Я сделал утвердительный жест, а потом вспомнил, что примерно в момент рождения младенца, которому полгода да неделя от роду, дал зарок бросить. Поспешно объяснил. Она извинилась и сказала: никогда больше не станет мне

предлагать. Я принялся гадать, содержит ли «никогда больше» добрые предзнаменования, но решил не выискивать скрытых смыслов в каждой ее фразе.

– Я их называю тайными агентами.

– Почему?

– В кино все тайные агенты курят.

– Значит ли это, что у тебя много тайн?

– Это бесцеремонно.

Какой же я глупец!

Она изобразила послевоенного агента, прикуривающего на ходу в темном мощеном переулке старой Вены.

Снаружи над городом висела бледная серебристая дымка. Снегопад не прекращался весь вечер. Она стояла рядом с перилами, двигала ногой, мечтательно разгребала снег замшевой туфелькой, тихо сбрасывала его с кромки. Я смотрел, как снежинки разлетаются по ветру.

Мне нравился этот жест: туфелька, замша, снег, кромка – все это делалось рассеянно, с сигаретой в руке.

Я раньше и не догадывался, что есть особая красота в том, чтобы шагнуть на свежий снег и оставить свои следы. Я всегда пытался избегать снега, холил свою обувь.

С этой высоты багряно-серебристый город казался эфемерным, далеким, потусторонним – зачарованное королевство, сияющие шпили которого молча вздымаются сквозь дымку зимних сумерек, чтобы вступить в беседу со звездами. Я смотрел на свежие борозды от шин на Риверсайд-драйв, на одинокие фонарные столбы со снопами пламени на головах, на автобус, что ковылял сквозь снег – пробрался через перекресток Риверсайд и Сто Двенадцатой улицы и побрел дальше, – сугробы на сутулых плечах, пустая стигийская лодчонка, уходящая к незримым краям и целям. Я, как и Клара, говорил он, доставлю туда, куда ты и не чаял добраться.

Официант сдвинул в сторону балконную дверь и осведомился, не хотим ли мы чего-нибудь выпить. Заметив у него на подносе «Кровавую Мэри», Клара тут же объявила, что будет ее. Официант не успел ничего возразить, а она уже схватила бокал с подноса. Я – Клара. Я всё хватаю. Цвет напитка совпал с цветом ее блузки. А потом она поставила бокал с широким ободком на балюстраду, закопав основание и часть тонкого конуса в снег – то ли чтобы охладить, то ли чтобы его не перевернуло порывом ветра. Докурив, она загасила окурочком носком туфли, а потом аккуратно смахнула его с края, как раньше смахивала снег. Я знал, что этот миг не забуду никогда. Туфельки, бокал, балкон, льдины, плывущие по Гудзону, автобус, ковыляющий по Риверсайд-драйв. О, не шуми, Гудзон, пока я допою.

В тот вечер, но раньше, я сел в такой же автобус, из-за метели напрочь пропустил свою остановку и вышел через целых шесть кварталов от Сто Шестой улицы. Помню, что гадал, где я нахожусь, почему ошибся, чувствовал себя полным идиотом, в руке тащил пакет из дорогого бутика, в котором то и дело позвякивали две бутылки шампанского, хотя продавец и вложил между ними кусок картона. Рядом со Сто Двенадцатой улицей я разглядел сквозь снегопад памятник Сэмюэлу Тилдену – торжественный бесстрастный взгляд, обращенный к западу, – вскарабкался по ступеням и огляделся, пытаясь отвяжаться от слюнявого сенбернара, который внезапно объявился на той же горке и, похоже, не собирался от меня отставать. Что лучше – сбежать или, сохраняя спокойствие, делать вид, что я его не замечаю? Тут раздались голоса двух мальчишек – они отзывали собаку. Катились с горки на санках. Пес, который явно запутался в направлении, помчался вслед за ними в парк. А потом – тихая, мирная, блаженная прогулка через шесть этих безлюдных кварталов по переулку, тянущемуся вдоль Риверсайд, изгибами, то внутрь, то наружу, похрустывание льда под снегом. Вспомнились «Бедфорд Фоллз» Капры и «Сен-Реми» Ван Гога, Лейпциг, хоры Баха и то, как ничтожные происшествия порой открывают нам новые миры, здания, людей, даруя неожиданные лица, которые уже никогда не

захочется утратить. Сен-Реми, городок, где Нострадамус и Ван Гог ходили по одним и тем же тротуарам, где пересекались пути ясновидящего и безумца, они приветственно кивали друг другу, разделенные столетиями.

Глядя с тротуара на окна наверху, я воображал себе дружные довольные семейства, где дети вовремя садятся делать уроки, а гости, которым страшно не хочется уходить, оживляют разговором ужины, хотя супруги за столом по большей части молчат. С балкона, где мы сейчас стояли, история со страшным сенбернардом выглядела глухой древностью. Я вспомнил, что подумал про средневековые рождественские городки на Эльбе и Рейне, тем более что совсем рядом над Сто Двенадцатой улицей и рекою нависал собор. Чтобы обеспечить себе положенное опоздание и чуть больше, я обошел квартал, оказался на Бродвее рядом с парком Штрауса, радуясь, что могу еще передумать и вообще не ходить на вечеринку, тем более теперь, когда желание почти испарилось – я даже поймал себя на том, что выдумываю убедительные оправдания, чтобы развернуться и отправиться домой, но при этом сжимаю в руке пригласительную открытку, на которой золотой филигранью отпечатан адрес. Линии были такими тонкими, что не прочесть, и меня уже подмывало спросить дорогу у ближайшего фонаря – ведь и он, как я, заплутал и застыл среди вьюги, хотя добросовестно отбрасывал весь оставшийся у него свет, чтобы помочь мне прочесть то, что стало напоминать призрачные катрены, выведенные прихотливым почерком самого Нострадамуса. Чтобы убить время, я отыскал маленькую кофейню и попросил чая.

А теперь я здесь, теперь я с Кларой.

Проглотив Манкевича и едва не подавившись куском перца, я стоял на балконе над Манхэттеном, уже помышляя о том, чтобы завтра ночью вернуться на Сто Шестую улицу, пересмотреть в памяти весь этот вечер – неспешно, размеренно: собор, парк, снег, золотую филигрань, фонарные столбы с пламенеющими головами. Я бросил взгляд вниз: если бы это было возможно, я подал бы себе, подходившему к этому дому несколько часов назад, знак, предупредил, чтобы он откладывал приход как можно дольше, – сперва полшага, потом половину от этого полшага, потом половину половины этого полшага – так поступают суеверные люди, когда, робко протянув руку, потом отталкивают ту самую вещь, о которой мечтают, потому что боятся: если не оттолкнуть подальше, она никогда тебе не достанется – асимптота ходьбы и желания.

Обнять ее за талию? Асимптотически?

Я попытался отвести от нее глаза. Видимо, она тоже смотрела в сторону, мы оба уставились в вечернее небо, которое рассекал блеклый неверный голубоватый луч прожектора, исходящий из неведомого угла на Верхнем Вест-Сайде; он брел на ощупь через пятнистую ночь, будто в поисках чего-то невятного – он и не надеялся этого найти, описывал над нами дугу за дугой, точно тощий острокрылый римский ворон, что каждый раз промахивался, когда пытался сесть на карфагенский корабль-призрак.

Сегодня волхвы точно заблудятся, хотел сказать я.

Но оставил слова при себе, гадая, долго ли мы будем вот так стоять, глядя во тьму, следя за молчаливым скольжением луча прожектора – будто это захватывающее зрелище, ради которого стоит помолчать. Может, прискучив движением по небу, луч остановится на чем-то, о чем можно поговорить, – возможно, в этом случае темой беседы станет сам луч. Интересно, что им хотят осветить. Или: что его испускает? Или: почему он смещается вниз всякий раз, как доходит до самого северного шпиля? Или: такое ощущение, что мы попали в Лондон, а это – Блиц. Или в Монтевидео. Или в Белладжо. А может, был другой, неуловимый вопрос, который я все пытался выкрутить из себя, будто и внутри меня шарил крошечный луч прожектора, вопрос, который я и задать-то не мог, а уж тем более дать на него ответ, но задать был должен – про себя, про нее, и назад ко мне – потому что я знал, что шагнул внутрь крошечного чуда

в тот самый миг, когда мы вышли на балкон посмотреть на этот ирреальный город, и поэтому должен был знать, что и она думает то же самое, иначе мне не поверить.

– Белладжо, – произнес я.

– Чего – Белладжо?

– Белладжо – крошечная деревушка на мысу на озере Комо.

– Знаю я Белладжо. Я там была.

Опять срезала.

– В некоторые особенные вечера Белладжо оказывается совсем рядом – озаренный огнями рай, всего-то в паре гребков веслом от берега озера Комо. В другие вечера до него не фурлонг, а много лиг и целая жизнь – не доберешься. И вот сейчас настал миг Белладжо.

– Что такое миг Белладжо?

Или мы не говорим на зашифрованном языке, ты и я, Клара? Я ступал по яичной скорлупе. Часть души не хотела знать, куда меня несет, другая понимала, что я преднамеренно забираюсь в опасные места.

– Тебе правда интересно?

– Может, и неинтересно.

– Значит, ты уже догадалась. Жизнь на другом берегу. Жизнь, какой она быть должна, не та, которую мы проживаем. Белладжо, не Нью-Джерси. Византия.

– Первые твои слова были правдой.

– Которые?

– Когда ты сказал, что я уже догадалась. Мог и не объяснять.

Очередной щелчок по носу.

Повисло молчание.

– Сквалыжная злюка, – изрекла она наконец.

– Сквалыжная злюка? – переспросил я, хотя и сам догадался, о чем она.

Внезапно, сам того не осознав, я понял: я не хочу, чтобы мы слишком сблизились, перешли на личное, завели разговор об этом возникшем между нами электрическом напряжении. Мне рядом с ней припомнилась история о мужчине и женщине, которые знакомятся в поезде и заводят разговор о знакомствах в поезде. Она – из тех, кто обсуждает свои чувства с тем самым незнакомцем, который и заставляет ее их испытывать?

– Клара – сквалыжная злюка. Ты ведь так подумал, да?

Я покачал головой. Лучше молчание. Пока оно вновь не сделается невыносимым. Я что, надул губы, сам того не заметив? Действительно надул.

– Что? – спросила она.

– Высматриваю свою звезду. – Поменяй тему, иди вперед, отпусти, поставь между нами дымовую завесу, скажи хоть что-то.

– То есть у нас теперь есть свои звезды?

– Если есть судьба, есть и звезда.

Ну и разговорчики.

– Так это – судьба?

Я не ответил. Это что, очередной издевательский способ захлопнуть за мной дверь? Или распахнуть ее с усилием? Она подталкивает меня к еще каким-то словам? Или к молчанию? Я опять увильну в уклончивость?

А спросить я, Клара, хотел одно: что с нами происходит?

Она не ответит, это понятно – а если ответит, то будет подколка с издевкой, кнут с морковкой.

Я что, обязана тебе отвечать? – спросит она.

Тогда объясни, что со мной происходит. Пока, понятное дело, хватит и этого.

Может, и туда не стоит соваться.

Все как прежде – молчание и возбуждение. Не говори, если не знаешь, и если знаешь, не говори.

– Да, кстати, – произнесла она, – я верю в судьбу. Кажется.

Это что – завсегда ночных клубов разглагольствует про каббалу?

– Наверное, у судьбы есть выключатель, – заметил я, – вот только никто не знает, когда включено, когда выключено.

– Полная чушь. Включено и выключено одновременно. Поэтому и называется судьба.

Она улыбнулась и бросила на меня взгляд: попался, да?

Как же мне хотелось, чтобы это переглядывание помогло мне набраться храбрости, провести пальцем по ее губам, задержать его на нижней губе, оставить там, прикоснуться к ее зубам, передним зубам, нижним зубам, а потом медленно ввести этот палец ей в рот, дотронуться до языка, влажного шустрого кошачьего языка, который произносит такие колючие язвительные слова, почувствовать, как он дрогнет, точно под ним набухают ртуть и лава, ворочаются злобно-сквалыжные мысли, которые вечно вызревают в этом котле, именуемом Клара. Я хотел опустить большой палец ей в рот, впитать в него весь яд ее укусов, укротить ее язычок – пусть язычок этот окажется лесным пожаром, а в нашей смертной схватке пусть этот язычок отщипет мой язык, раз уж я раздражил его ярость.

Чтобы молчание не выглядело мучительным, я сделал вид, что поглощен лучом прожектора, будто этот смутный сноп света, странствующий по взбаламученной серой ночи, действительно отражал нечто серое и взбаламученное во мне, будто он блуждал по моему внутреннему ночному миру, выискивая не только то, что я мог бы ей сказать, не тень смысла того, что с нами происходило, но и некое темное слепое тихое место у меня внутри, которое этот луч (так оно бывает в фильмах о военнопленных) пытался выявить, но каждый раз упускал. Я не мог говорить, потому что не видел, потому что сам этот луч, скрещение часов с одной стрелкой, не способных показывать время, с компасом, не примагниченным ни к какому полюсу, напоминал мне самого себя: он не знал, куда направляется, не мог нащупать путь во тьме, не умел отыскать в пространстве ничего, что стоило бы принести к нам сюда на балкон в качестве предмета для разговора. Вместо этого он все указывал на обманки за Гудзоном, как будто там, за мостом, на другой стороне, лежал мир куда более реальный, как будто там жизнь обрисовывалась выпукло, а здесь была лишь подобием жизни.

Какой она внезапно показалась далекой, отгороженной таким количеством заслонок и запертых дверей, биографий, людей, которые стояли меж нами все эти годы, точно трясины и штольни (ими каждый был и пребудет), пока мы оставались на этом балконе. Был ли я окопом в чьей-то чужой жизни? Или она – в моей?

Чтобы показать, что молчание мое – не следствие неспособности придумать какую-то фразу, что я правда погрузился в мрачные глубокие мысли, которыми делиться не собираюсь, я вызвал в памяти лицо отца, каким оно было, когда я в прошлом году пришел его навестить поздно вечером после праздника, а он велел мне сесть на край его постели и рассказать ему обо всем, что я видел и ел в тот вечер, – «и начни с самого верха, а не с середины, как ты это всегда делаешь», чтобы потом найти повод вставить это самое: «Я теперь так редко тебя вижу», или «Я никогда не вижу тебя с кем-то еще», или «Если я вижу тебя с кем-то еще, она исчезает так быстро, что я и имя-то запомнить не успеваю», и в тот самый миг, когда я порадовался, как ловко ускользнул от более важного вопроса – сколько ему еще осталось недель и дней, прозвучал этот стародавний (налейте брома) вопрос про детей: «Я столько ждал, но больше ждать не могу. Скажи хотя бы, что у тебя кто-то есть». А потом, с ноткой сварливости: «Никого нет, верно?» Никого нет, отвечал я. «Хоть имена напомни – Элис, Джин, Беатриса и эта задавака-наследница из Мэна с огромными ногами, которая помогала нам складывать

винные бутылки на балконе и не могла даже толком обернуть салфетку вокруг столовых приборов, потому что все время курила?»

Ливия, отвечал я.

«Почему так равнодушно, отстраненно?» Его слова. «ЖНН», говорил он. «Женись на наследнице». А в ответ я мог сказать только: все то, что у нее есть, мне никогда не было нужно. Всего того, что мне было нужно, у нее нет. Или еще жестче: у меня уже есть все то, что есть у нее.

Из сумятицы серого и серебристого на горизонте я заставляю себя сложить его лицо, но оно все пытается уплыть обратно в ночь – ты мне сейчас нужен, твержу я, дергая воображаемую нить, связывающую меня с отцом, пока на долю секунды большое изможденное лицо, которое я вызвал из небытия, не всплывает у меня в мозгу снова, а вслед за ним – призрак множества трубок, подключенных к респиратору в палате онкологического отделения больницы Маунт-Синай. Мне хотелось вздрогнуть от этого образа, чтобы нечто вроде тени сдерживаемого горя обозначилось у меня на лице и оправдало мою неспособность сказать хоть слово единственному человеку, который смог повергнуть меня в полное косноязычие.

Я посмотрел на Кларину «Кровавую Мэри», стоящую на перилах, и подумал о мрачных обитателях гомеровского загробного мира – как они, шаркая, влекут свои мозолистые ноги к корыту со свежей кровью, которое и должно выманить их из пещер: «Там, откуда я пришел, нас таких много, и некоторые тебе совсем не понравятся, так что отпусти меня, сын, отпусти. Мертвецы доброжелательны друг к другу – и это все, что тебе нужно знать».

Бедный старик, подумал я, глядя, как он истаивает в блекло-серебристой ночи, – немногие его любили, почти никто не вспоминал после.

– Посмотри вниз, какие они здоровенные!

С высоты видно, как бесконечная с виду вереница неправдоподобно больших лимузинов остановилась у тротуара возле нашего здания: каждый выгружал бодрых пассажиров на высоких каблуках, а потом полз дальше, чтобы из следующего могли выгрузить новых, и двигался вперед, уступая место следующему. Что-то во мне всплеснулось при виде этой экстравагантной цепочки черных авто, сверкавших в белой ночи. Я как будто шагнул на странный, вдруг заполнившийся современной техникой Невский проспект.

Машины не уехали, а запарковались в два ряда по всей длине Сто Шестой улицы. Группа водителей собралась у памятника Францу Зигелю – перекурить и поболтать. Наверняка по-русски. На двоих были длинные темные пальто: духи, извлеченные из загробного мира Гоголя, того и гляди хором загорланят русскую песню.

Куда направлялись все эти люди? Вид машин, запаркованных столь величественно, заставил меня пожалеть, что я на этой вечеринке, а не на их. Все эти напыщенные расфуфыренные типы, прибывающие по двое и по трое. Как, видимо, изумительна их жизнь, как роскошна, думал я, почти позабыв про Клару – а она опиралась на перила рядом со мной, столь же завоороженная этим зрелищем. Я почувствовал нечто граничащее с удовольствием, глядя, как легко меня отвлечь и обратить мои мысли к другим вещам вместо нее. Вот он – голливудский шик, хочется увидеть все это вблизи. А потом, сообразив, что пренебрегаю отцом, я застыдился: стоило ли его призывать, чтобы потом тебя поймали на мысли о лимузинах.

В результате мы с Klarой все-таки заговорили об этом лучше, о гостях внизу, о других вещах – я стал задавать ей разные вопросы, чтобы поддерживать разговор, и вот упомянул между делом, что этот эпизод на балконе заставил меня вспомнить балкон в доме моих родителей, и как в Новый год отец каждый раз складывал на нем бутылки с вином, чтобы охладиться, как в новогоднюю ночь мы вслепую пробовали вина с его друзьями и партнерами, ждали, какое из них будет признано лучшим, – эти дегустации всегда превращались в буйство, мама носилась туда-сюда, чтобы все голоса обязательно были поданы до того, как за несколько

минут до полуночи муж ее произнесет стандартную стихотворную речь – так было до Маунт-Синая. «Почему на балконе?» – прервала меня Клара. Ее, надо думать, интересовало, почему я смешал два балкона и поместил ее в эту картину. Лучшее место, чтобы остужать бутылки с вином и содовой, если снаружи не дикая стужа. Кто-то всегда помогал мне разложить бутылки, скрыть этикетки, раздать самодельные таблицы для проставления баллов. «Ребенок в розовом кусте?» – осведомилась она. Я покорно пожал плечами, как бы говоря – да, пожалуй, зачем спрашивать, это не повод дразниться, я не хочу шуток на эту тему. Ее родители четырем годами раньше погибли в автомобильной аварии. Таким оказался ее едкий ответ на мой сбивчивый отклик на ее иронию.

*Я – Клара.* Не смей на меня наступать.

Она рассказала о последнем своем студенческом годе, обледеневшей дороге в Швейцарии, о юристах, о ночах, когда она не могла заснуть; ей нужно было спать с кем-то, с кем угодно, ни с кем, со всеми. Пристыженное хихиканье – а я как раз проникался торжественностью минуты.

Беседа получалась беспомощная и бесцветная, без искрометности, без бодрого перешучивания, которое до того обволакивало нас, точно запах ладана в залитой луною гробнице. Похоже, мы попали в те самые окопы, над которыми только что посмеивались, и во время возобновившихся пауз – они отстукивали, будто тяжелые мячи, возвещающие близость конца, – я поймал себя на том, что уже мучительно пытаюсь внести этот вечер в реестр памяти, будто над нами постепенно опускается занавес, остается спасать то, что можно, и думать о том, как уложить в памяти эти совместные мгновения, не слишком себя терзая. Придется рассортировать на «оставить» и «отпустить», прижать к сердцу то, что обещает к утру не утратить сияния – так фосфоресцирующие палочки наутро после праздника светятся вчерашним смехом и предвкушениями.

Хотелось бы после этой отбраковки оставить себе обязательные к запоминанию моменты: тувфельку, бокал, балкон, льдины, бредущие по Гудзону, – все то, что надо бы унести с собой, как упакованный бифштекс, который не доел в ресторане: так после торжественного ужина не забываешь попросить кусочек торта для кого-то, кто не пришел из-за занятости, или для шофера внизу, для больного брата или родственника, что был вынужден сегодня остаться дома, или для той части собственной души, которой пакетик заботы дороже всякого ужина, а потому она редко выходит из дома, рассылая в мир теневые версии себя, подобно беспилотникам, что обшаривают сомнительную территорию, при этом дома осталась лучшая часть души, – так надевают в свет фальшивые драгоценности, а подлинники оставляют в сейфе, так начинают «проживать заново» те самые моменты, которые прямо сейчас проживают в реальном времени, в реальном мире, как вот я сейчас. Тело вышло в свет, но сердцу это не обязательно по душе.

Я снова подумал про то, как год назад отец попросил меня присесть на край постели и рассказать обо всем, что я видел, с кем танцевал: «Имена, имена, – твердил он, – мне нужны имена, нужны лица, твое вращение в гуще жизни для меня – как дар, лучше послушать тебя, чем посмотреть тысячу передач по телевизору». Ему было неважно, что я пришел очень поздно. «Ну и что, все равно мне не спится, и мы оба знаем, что скоро я отосплюсь досыта». Если бы он был жив, я начал бы с двух слов и с самого верха сегодняшнего вечера. «*Я – Клара.* Явно из реального мира», – сказал бы он.

Она из реального мира?

Она – не другие?

Ее тревожит, что я из других?

Или Клар вообще не тревожат такие вещи?

Потому что они и так всё знают. Потому что они и есть мир, в мире, из мира. Они здесь и сейчас. А я – повсюду, нигде, жизнеподобие. Я то ли то, то ли сё.

И мне хочется думать, что эта встреча еще застынет в окончательную форму, или пока не совсем произошла, она в процессе воплощения неким небесным изобретателем, у которого не все получается ладно, он ничего не продумал до конца, так что придется нам теперь импровизировать, пока за дело не возьмется ремесленник посноровистее и не даст нам возможность все повторить, но толком.

Мне хотелось вернуться вспять и вообразить ее человеком, который еще не открыл своего имени, но уже явился мне, как люди являются в предрассветных снах, чтобы на следующий день обернуться явью. Кто знает, может, мне еще выпадет повторный шанс. Но с двумя условиями: что я окажусь на совершенно иной вечеринке и напрочь забуду, что был на этой. Как человек, возвращающийся от гипнотизера или из прежней жизни, я познакомлюсь с новыми людьми – и не буду знать, что пока с ними не знаком, но страшно хочу познакомиться, жаль, что не познакомился раньше, и пообещаю никогда их не забывать, не отпускать из своей жизни, пока некто не явится из ниоткуда и не скажет чего-то неловкого, пытаюсь представиться, и не напомнит мне про женщину, с которой мы встречались раньше, или пути наши пересекались, но мы почему-то не столкнулись, а теперь нужно во что бы то ни стало познакомиться снова, потому что мы выросли вместе, а потом потеряли друг друга или через многое вместе прошли – например давным-давно были любовниками, но потом нечто позорное и тривиальное, например смерть, встало между нами, но уж на сей раз ни один из нас ничего такого не допустит. Скажи мне, что тебя зовут Клара. Ты – Клара? Твое имя – Клара? Клара, скажет она, нет, я не Клара.

– Люблю снег, – выговорила она наконец.

Я молча уставился на нее.

Собирался спросить почему.

А потом решил сказать, что завидую людям, которые могут сказать, что любят снег, не ощущая стеснения и неловкости, – это как писать стихи в рифму. Но это показалось неуместно надуманным. Я решил поискать другую реплику.

И пока я вновь мучительно соображал, как заполнить паузу – чем-то, чем угодно, – до меня дошло, что, если она говорит, что любит снег, значит, скорее всего, и ей повисшее между нами молчание совершенно невыносимо и она решила, что придушить простую мысль – большее зверство, чем высказать ее вслух.

– Я тоже люблю, – сказал я, радуясь, что она проложила путь к простоте. – Хотя и не знаю почему.

– Хотя и не знаю почему.

Она вновь пытается сказать, что мысли наши движутся параллельным курсом? Или просто рассеянно повторяет, уничтожая, бессмысленную фразу, которую я выговорил, чтобы усложнить предельно простую вещь?

Все равно мне понравилось, как она едва ли не выдохнула: «Хотя и не знаю почему». Надо было нагнуться к ней и обвить рукой ее талию. Дозволительно ли нагнуться к Кларе, обвить рукой ее талию, коснуться губами ее губ?

Несколько лет назад я бы поцеловал ее без колебаний.

Теперь, в двадцать восемь, уже не знаю.

Кто-то распахнул балконную дверь и шагнул к нам.

– Нашлась, – проговорил он. А потом, сообразив задним числом: – Помешал вам? – спросил он – и глаза, как мне показалось, блеснули озорством. – Так вот где ты пряталась, – произнес дородный мужчина, нагнулся и поцеловал Клару. – А мне сказали, ты еще не пришла.

– Пришла, Ролло, мы просто вышли меня покурить, – сказала она другим голосом, с налетом кичливости – его прежде не было. Она жестом велела пришедшему закрыть стеклянную дверь. – А то она бурчит.

– Да с тебя как с гуся вода, – хрюкнул он.

– Не хватало мне сейчас еще бурчания Гретхен.

– А с чего Гретхен будет бурчать? – осведомился я, не столько из любопытства, сколько в попытке вклиниться в ее языковой строй и сохранить прежний ореол близости.

– Она терпеть не может, когда я курю в окрестностях ее младенца. Чертова мать, ей бы только бурчать...

– А где очаровательная детка? – спросил я, пытаясь изображать плутоватость, тем более что никаких младенцев поблизости не видел. Стеб над Гретхен явно был дежурной шуткой в мире Клары, и мне хотелось показать, что я вполне способен внести в него собственный вклад – если так выглядит пропуск в этот мир.

– Ее младенец – подросток-астматик, которому, возможно, хватило воспитания с тобой поздороваться, когда ты пришел, – объявил дородный, решительно поставив меня на место.

– Мелкий хорек, – добавила ради меня Клара.

– Мелкий чего?

– Нев-важно.

Дородный обхватил ее за плечи в знак того, что прощает.

– А ты не замерзла, Кларушка?

– Нет.

Она повернулась ко мне.

– Ой, а ты-то, наверное, замерз.

То ли она силой втаскивает меня в свой мир, то ли это такой способ сделать вид, что между нами и раньше существовала дружба?

На самом деле в ответе она не нуждалась. Я и не стал отвечать. Вместо этого мы все трое, как по договоренности, оперлись на перила и уставились на бескрайний уходящий к югу простор бело-алых небес над Манхэттеном.

– А вот представьте себе, – наконец произнесла Клара, – что все электрические фонари на Риверсайд-драйв вдруг превратились обратно в газовые рожки – мы тогда смогли бы отключить этот век и выбрать другой, любой. Риверсайд в газовом свете выглядела бы такой заколдованной, что мы все решили бы, что мы в другой эпохе.

Слова трезвомыслящей любительницы вечеринок, которая не любит вечеринки, но ходит на вечеринки, однако при этом томится здесь и хочет оказаться в другом месте, в иной эпохе.

– Или в другом городе, – подхватил я.

– В любом городе, кроме этого, Клара, в любом кроме. Достал меня Нью-Йорк... – начал было Ролло.

– При твоём темпе иначе и быть не может. Ты бы замедлился и залег на дно. Может, нам всем стоит залечь на дно? – Она внезапно повернулась ко мне. – Это способно творить чудеса. Посмотри на нас, – произнесла она, как будто это «нас» существовало, – мы оба залегли на самое дно и являем собой воплощенное блаженство, верно?

– Клара залегла на дно? Так я и поверил. Ты всегда водишь людей за нос, Клара?

– Сегодня нет. Я сейчас именно такая, какой сегодня хочу быть. И, может быть, я хочу быть именно здесь, на этом балконе на Верхнем Вест-Сайде, на этой стороне Атлантики. Отсюда видно всю Вселенную с ее микроскопическими вздорными гуманоидами, старательно шевелящими всеми частями тела. С моего нынешнего места, Ролло, ты бы увидел все, в том числе и Нью-Джерси.

Толстяк тихо фыркнул.

– Эта нимфомания, – объявил он, обратив ко мне глаза навывкате, – представляет собой беспардонную нападку на Гретхен, урожденную Теанек.

– А по правую руку, дам-мы и гыспода, – продолжала Клара, держа в руке воображаемый микрофон и подражая экскурсоводу, – находится главная достопримечательность вида из окон Теанек, храм Бней-Брит, а рядом с ним – храм Богородицы Неплодоносящей.

– Ишь, какая ты нынче колючая.

– Хватит, Ролло, не уподобляйся Шукоффу.

– Такой злокой на дно не залажешь.

– Я сказала – залечь на дно, не впасть в кому. Залечь на дно – значит многое переосмыслить, сохранить в душе, двигаться к переменам мелкими шажками, а не бросаться очертя голову в каждую затею, которая *нам* приспичила.

Короткая пауза.

– Туше, Клара, туше. Я забрел в долину скорпионов и наступил на эрегированный хвост самой злобной их матки.

– Я ничего такого не имела в виду, Ролло. Ты прекрасно знаешь, что я имела в виду. Я жалью, но без яда... Зима, – добавила она под последнюю затяжку. – Мы ведь все любим зиму и снег.

Непонятно было, к кому она обращается, к нему, или ко мне, или к обоим, или ни к кому, потому что было нечто настолько мечтательное и отрешенное в том, как она оборвала саму себя, подчеркнув для нас, что обрывает, что могла бы с тем же успехом обращаться к Манхэгтену, к зиме, к самой ночи, к полупустому бокалу с «Кровавой Мэри», что стоял перед ней на перилах – призрак моего отца сделал из него крошечный глоток, прежде чем сгинуть с балкона. Хотелось думать, что она обращается только ко мне или к той части моей души, что сохранила ту же податливость, что и снег, скопившийся на перилах, – к той, в которую она погрузила свои пальцы.

Поглядев вдаль и вновь проследив за движением прожектора, я не сдержался.

– Однажды в полночь Вечность видел я, – произнес я наконец.

– Ты однажды в полночь видел вечность?

– Генри Воэн, – пояснил я, едва не корчась от смущения.

Она, похоже, порылась в памяти.

– Первый раз слышу.

– Его почти никто не знает, – сказал я.

И тут я услышал, как она произносит слова, которые, как мне показалось, пришли из прошлого, лет десять назад:

Однажды в полночь Вечность видел я —  
Она Кольцом сверкала, блеск лия,  
Бескрайний свет струя<sup>7</sup>.

– Почти никто не знает? – Она повторила мои слова с торжествующей насмешкой.

– Похоже, я ошибался, – ответил я, пытаюсь показать, что крепко усвоил урок. Счастлив я был безмерно.

– Скажи спасибо швейцарскому лицу под руководством мадам Дальмедиго. – Успокоительная ласка. И, прежде чем я успел как-то отреагировать: – Ой, взгляди! – Она указала на полную луну. – Полналуна, одналуна, спокойной ночи, луна, ты там чего, луна, сегодня тут, завтра в хлам, моя луна, моя всеобщая луна, спокойной ночи, луна, спокойной ночи, дамы, спокойной ночи, луночка-луна.

– Чепуховина, – прокомментировал Ролло.

---

<sup>7</sup> Перевод Д. Щедровицкого.

– Сам ты чепуховина. Полналуна, супмисоилисалат, лунобаклажан, баснословно, слов-нобасно, поражена твоейкрасойлуна.

– И тебя с Рождеством, Нью-Йорк, – вставил я.

– На самом деле, – выпалила она, как будто в очередной попытке сменить тему, – если сегодняшний вечер мне о чем напоминает, так это о Петербурге.

Куда подевалась любительница вечеринок с ее непреклонным «мне сейчас хочется быть именно здесь»?

Или мысли наши пересекались весь этот вечер, следуя по параллельным путям? Или любой, кто глянул бы с этого балкона, немедленно подумал бы о Петербурге?

– И сейчас белая ночь – ну, почти? – спросил я.

Мы заговорили про самую долгую ночь года, одновременно самую короткую, про то, как очень многие вещи, даже если их вывернуть наизнанку и завязать в ленту Мебиуса, все равно остаются прежними. Заговорили о персонаже Достоевского, который встречается на набережной незнакомку и на четыре белые ночи безумно в нее влюбляется.

– Белая ночь с видом на Нью-Джерси? Вряд ли! – сказала Клара.

– Белая ночь зимой? Ну уж вряд ли! – фыркнул Ролло.

Меня это рассмешило.

– Ты чего смеешься? – осведомился он, не скрывая раздражения.

– Достоевский в форте Ли! – ответил я, как будто это не требовало пояснений.

– А что, Достоевский на Западной Сто Шестой улице лучше? – фыркнул Ролло.

– Шуток не понимаешь, да, Ролло? Вот тебе тогда вопросик на миллион, – подхватила Клара. – Что лучше: выйти на балкон на Риверсайд-драйв и смотреть на Нью-Джерси или находиться в Нью-Джерси и разглядывать загадочный мир евреев из Верхнего Вест-Сайда, которые празднуют Рождество?

– Бессчастливых евреев.

– Напрасных евреев.

– Громогласных евреев, – добавил Ролло.

– Амфибалентных евреев, – произнесла она.

Я задумался над ее вопросом, но в голову пришел лишь озадаченный Нью-Джерси, который тарашится на небоскребы Манхэттена, задаваясь тем же вопросом, но в обратную сторону. А потом я подумал про затерявшихся в вечности влюбленных у Достоевского, которые с мучительным напряжением пытаются хоть одним глазком разглядеть нас с Кларой, пока мы мечтаем о том, чтобы ступить на их залитый газовым светом Невский проспект. Я не знал ответа на ее вопрос и никогда не узнаю. Я лишь сказал, что если тем, кто находится на Манхэттене, Риверсайд-драйв не видно, то тем, кто находится за Гудзоном и видит Риверсайд-драйв, никак до нее не добраться. Перевертыш перевертыша более не перевертыш. Или перевертыш? Разве мы с тобой не говорим на одном языке?

– То же самое и с любовью, – бросил я, не до конца понимая, куда меня заведет это сравнение, но твердо решив его провести. – Можно мечтать об отношениях, находиться в отношениях, но быть мечтателем и любовником одновременно невозможно. Или возможно, Клара?

Она минутку подумала, как будто смогла ухватить если не смысл аналогии, то по крайней мере ее уклончивый лукавый подтекст.

– Это Вопрос Третьей Двери, мне такие нынче вечером не по зубам.

– Куда там, – съехидничал Ролло.

– Отвяжись, – огрызнулась она в ответ.

– Ролло, полагаю? – наконец-то произнес я, пытаюсь говорить как мужчина с женщиной – этакий Стэнли, приветствующий Ливингстона.

Она вспомнила, что не представила нас друг другу. Он протянул мне жирную ладонь преуспевающего финансиста, а также, добавил он, виолончелиста-любителя, личная жизнь которого – незапертый платяной шкаф.

– Отвяжись. – Она выпустила последний жалкий залп.

– Горгона, – парировал он.

Не Горгона, подумал я, а колдунья Цирцея, которая превращает мужчин в домашних животных – впрочем, все равно такова их участь.

– Горг, – фыркнул он чуть слышно и будто лязгнул собачьей пастью – им явно нравилась эта свирепая игра в кошки-мышки.

Представить меня толком Кларе явно оказалось не по силам. Зато она сумела повернуть дело так, что мы, мол, сами виноваты, что раньше не обменялись рукопожатием. Воспитанные же люди, могли и сами догадаться, кто тут кто.

– Знакомый Ганса, – пояснила она. – Да, кстати: а ты видел Ганса?

Он пожал плечами.

– А где Орла?

– Я вообще почти никого не видел. Видел Бэрил, она сидела с Инки в голубой гостиной.

– Инки здесь? – оборвала его Клара.

– Только что с ним говорил.

– А я не собираюсь.

Он посмотрел на нее, явно не понимая.

– Ты о чем?

На лице у Клары появилось лукавое сожаление, причем оно само выдавало собственное притворство.

– Инки на выход. – Она отвернулась, рассматривая новую сигарету, которую собиралась зажечь, и явно хотела возобновить разговор про «Белые ночи» Достоевского, поскольку с темой про Инки покончено. Но Ролло не так-то просто оказалось сбить с толку.

– Говорю – на выход. Долой. В смысле, *finito*. В смысле, все кончено.

Толстяк явно оторопел.

– Инки меня бросил. Просек?

– Просек.

– Я просто удивилась, что он сюда притащился, вот и все, – добавила Клара.

Ролло изобразил руками изумление.

– Ну, вы двое просто вообще... вообще, – добавил он.

– На самом деле мы ничего особенного из себя не представляли. Чистилище и сумерки с самого начала. Вот только милейший Ролло, да и все остальные наши знакомые не желали этого замечать. – Опять неясно, к кому она обращается: ко мне, Нью-Йорку или к себе.

– А он-то знал, что ты... в сумерках и чистилище, как ты это называешь?

Последние слова прозвучали колюче. Я сразу понял, что ответ будет безжалостным.

– Я никогда не была – в чистилище, Ролло. – Изобразить драматическую паузу перед словами «в чистилище» уже стало дежурной шуткой. – Это он был – в чистилище. Он был бескрайней тундрой моей жизни, если тебе интересно. Все кончено.

– Бедняга Инки. Зря это он. Ужас в том...

– Ужасно!

– Ужас в том, что ты заставила его бросить все, что у него...

– Ужасно!

– Клара, ты не Горгона, ты хуже! Ужасно и страшно то...

– Ужасно, несчастно, напрасно!

Клара вскинула обе руки, жест этот означал: «Сдаюсь и не произнесу больше ни слова».

– Я в этом году еще не слышал ничего столь бесчеловечного.

– А тебя оно волнует? Он свободен, можешь забирать. Ты же всегда этого хотел.

Трудно было предсказать, сколько это продлится, но с каждой секундой делалось все мучительнее.

– Слушайте, объясните хоть, кто он, этот Инки! – наконец вклинился я – этаким ребенком, который пытается погасить ссору между родителями.

Я не просто хотел их прервать. Это была неуклюжая попытка хоть что-то выведать про этот их манящий мир, в котором можно выйти на балкон с незнакомкой, а потом – так фокусник вытаскивает из чужого кармана бесконечную связку платков – за вами потянется связка бесчисленных друзей, которых зовут Ганс, Гретхен, Инки, Тито, Ролло, Бэрил, Пабло, Манкевич, Орла и – это у всех на устах – Кларушка, Кларушка, а вы стоите и думаете про Белладжо и Византию, про белые ночи, холодные каналы Петербурга, отчего бесконечный черно-белый силуэт Верхнего Вест-Сайда предстает детской сказкой: сказал одно слово – и шагнул туда.

– Инки – он из окопов, – пояснила она, переходя на наш общий язык: мне это польстило и заставило думать, что я теперь рангом повыше Ролло. Потом она повернулась к нему: – Он, знаешь ли, поступил правильно. Я совсем его не виню. Впрочем, я его предупредила.

– Пошли они, твои предупреждения. Бедолага там с ума сходит. Я его знаю. Ему страшно больно.

– Подумаешь, какие неженки, и ты, и он – оно, видите ли, страшно больно.

Она вроде как передернула плечами, как бы посмеиваясь над неуклюжей фразой.

– Клара, Клара, – начал было он, будто еще не решив, будет ли умолять и уговаривать – или проклянет: – Тебе стоит еще раз подумать...

– «Стоит» как в «стоит вечером померить температуру» или «стоит смотреть под ноги», «стоит следить, что ты ешь» – так, амиго? Ничего не говори. Ни слова, Ролло.

В голосе ее внезапно зазвучало негодование. Я чувствовал, в виду она имеет другое: «Не говори того, о чем потом пожалеешь». Это был не упрек, не предостережение. Больше напоминало пощечину.

– Клара, если ты сию же минуту не прекратишь шутить, я, честное слово, раздружусь с тобой навеки.

– Отлично, начали.

Я не знал, что сказать. Часть моей души подумывала, извинившись, оставить их препираться наедине. Но мне не хотелось исчезать из этого мира, который лишь несколько секунд назад открыл для меня свои двери.

– Вот из-за таких горгон, как ты, мужчины вроде меня и становятся геями.

Он не стал ждать, пока она скажет еще хоть слово, рывком распахнул стеклянную дверь, а потом захлопнул ее за собой.

– Мне очень, очень жаль. – Я сам не знал, извиняюсь я за нее или за то, что стал свидетелем этой перепалки.

– Не о чем тут жалеть, – ответила она без выражения, затушила сигарету о каменные перила и посмотрела вниз. – Очередной день в окопах. На самом деле хорошо, что ты был рядом. Мы бы поссорились, я наговорила бы всякого, о чем потом бы пожалела. Я и так уже о многом жалею.

Кого она жалеет: его, Инки, себя?

Без ответа.

– Холодновато становится.

Я беззвучно открыл балконную дверь, чтобы не прервать пение в гостиной внизу. Услышал ее бормотание:

– Зря Инки притащился. Незачем ему было сегодня приходить.

Я изобразил слегка скорбную, дружескую улыбку, означавшую нечто предельно банальное, типа: ничего, все еще образуется.

Она резко обернулась:

– Ты здесь с кем-то?

– Нет. Пришел один.

Ей я не стал задавать тот же вопрос. Не хотелось знать. Или не хотелось показать, что мне это очень интересно.

– А ты? – услышал я собственный голос.

– Одна; с кем-то, но по сути – одна.

Она рассмеялась. Над собой, над вопросом, над двойственными и тройственными смыслами, над всеми этими преднамеренными и непреднамеренными многозначностями. Потом указала на кого-то, кто болтал с кем-то, похожим на Бэрил.

– Да? – осведомился я.

– Это Тито – тот самый Тито, о котором мы говорили.

– И?

– А там, где Тито, должна быть и Орла.

Я не обнаружил Орлы поблизости.

– Видишь этого типа с ним рядом?

Я кивнул.

– Тот самый, с которым я была... в чистилище, – пояснила она.

Очередная пауза. Я собирался спросить, все ли мужчины в ее жизни попадают в чистилище. «Почему тебя это интересует?» Впрочем, спросит она потому, что уже знает подоплеку моего вопроса.

– Некоторые тут собираются на полуночную мессу в собор Святого Иоанна, ненадолго. Идешь? – Я слегка скривился. – Будем вместе зажигать свечи, это весело.

Ответа она ждать не стала и с той же стремительностью, с какой подала эту мысль, – похоже, стремительность была во всех ее действиях – сказала, что сейчас вернется, и шагнула наружу.

– Подожди меня, ладно?

В том, что подожду, она не сомневалась.

Впрочем, на сей раз я решил, что она не вернется. Столкнется с Инки, Тито, Орлой и Гансом – и мигом вольется обратно в их тесный мирок, из которого выскользнула призраком возле рождественской елки.

В одиночестве на балконе меня вновь посетили мысли, которые уже приходили на ум в тот вечер, пока я бродил по комнатам второго этажа, размышляя, остаться, не оставаться, уйти, остаться еще ненадолго, – теперь я пытался припомнить, что именно чувствовал, что делал за несколько секунд до того, как она обернулась и назвала свое имя. Я думал про гравюры Афанасия Кирхера, развешанные в рамках по стенам длинного коридора рядом с одним из кабинетов. Явно не репродукции, а извлечены из бесценных переплетенных томов. Именно тогда, пока я кипел безмолвным негодованием по поводу преступного заключения этих изображений в рамки и развешивания их рядом с сортиром в доме богача, ко мне и протянулась та рука.

А теперь сквозь стеклянную дверь мне видна была груда рождественских подарков, помпезно возвышавшаяся рядом с огромной елкой. Стайка подростков постарше, одетых для другой вечеринки, которая еще даже и не начиналась и не начнется много часов, собралась у елки, они трясли избранные упаковки рядом с ухом, пытаясь угадать, что там внутри. Меня охватила паника. Нужно ведь было отдать бутылки с шампанским кому-то, кто знает, как ими распорядиться. Я вспомнил, что так и не нашел никого, кто мог бы их у меня забрать, пришлось воровато, украдкой поставить их у вращающейся кухонной двери – этикие две сиротки, брошенные на пороге богатого дома, а терзаемая совестью мать растворилась в безымянной ночи. Разумеется, никакой карточки я к ним не присовокупил. Что случилось с моими бутылочками,

купленными впопыхах, прежде чем вскочить в автобус М5? Наверняка кто-то из официантов обнаружил их у двери и поставил в холодильник, а там они сдружились с другими такими же сиротками.

Я чувствовал себя одним из тех растерянных гостей, что захаживали к моим родителям в рождественскую неделю, когда у нас проходило ежегодное винное празднество. Отца называли аббревиатурой ПГ – «порадуй гостей». Мама была ОП – «обожаю подарки». А ЖНН было его напоминанием мне: «Женись на наследнице», женись, мать твою.

Чтобы прояснить голову, я прошелся по балкону, пытаюсь представить себе, как этот дом выглядит летом, воображая людей в легкой одежде, которые толкуются здесь с бокалами шампанского, умирая от желания посмотреть на (им это уже известно) один из самых живописных закатов на свете, следят, как цвет горизонта меняется с трепетно-голубого на оттенки летнего розового и мандариново-серый. Я гадал, какие туфельки были на Кларе летом, когда она выходила на террасу и стояла там с другими, курила тайных агентов, препиралась с Пабло, Ролло и Гансом, поддевала каждого в лицо или со спины, неважно как, главное – выпалить что-то злое и сквалыжное, чтобы потом сразу взять свои слова обратно. А за сегодняшний вечер сказала ли она о ком-то хоть одно доброе слово? Или у нее снаружи – сплошной яд и наждак, а еще – свирепая, колючая, обжигающая разновидность чего-то настолько жесткого и бессердечного, что оно в состоянии проковыряться сквозь любые человеческие чувства и пронзить испуганного беспомощного ребенка, что живет в каждом взрослом, потому что имя его, если прочитать с конца и вывернуть наизнанку, все равно может оказаться «любовь» – сварливая, ехидная, грубая, озлобленная, но все же любовь.

Я попытался вообразить, как будет выглядеть эта квартира в канун Нового года. Пришли лишь несколько счастливиц. В полночь они выйдут на балкон – смотреть фейерверк, открывать бутылки с шампанским, чтобы потом вернуться назад, к камину, и поболтать о любви, как оно водилось на стародавних банкетах. Моему отцу бы понравилась Клара. Она помогала бы с бутылками на балконе, с закусками на вечеринке, вдыхала бы жизнь в его прискучившие строфы, хихикала в ответ на ежегодную шутку старого филолога-классика о том, как Ксантиппа вынудила мужа-подкаблучника Сократа выпить цикуту – а он с радостью, потому что еще один день, еще один год вот так, любви нет и не предвидится... Будь там Клара, обращенная ко мне ежегодная проповедь на балконе, пока мы раскладываем бутылки, не звучала бы настолько сварливо. «Я хочу детей, не прожекты». Увидев Клару, он попросил бы меня поспешить. Она вошла бы, произнесла: «Я – Клара», и – готово дело, он очарован. Назвал бы ее «девушкой из Белладжо». Как-то раз вечером мы с ним стояли возле охлажденных бутылок, разглядывая запруженные народом соседские окна в доме напротив. «Вот у них настоящая вечеринка, а у нас одна видимость», – сказал отец. «Они наверняка считают, что у них одна видимость, а у нас настоящая», – ответил я, пытаюсь его подбодрить. «Тогда все даже хуже, чем я думал, – откликнулся он. – Никогда мы не живем нынешним мгновеньем, жизнь всегда в другом месте, что-то постоянно крадет у нас вечность. Заперли нечто в одной комнате, а оно просочилось в другую, точно в стариковском сердце с одряхлевшими клапанами».

Официант открыл стеклянную дверь, шагнул на балкон забрать полупустой Кларин бокал. Я велел его оставить. Заметив, что мой бокал пуст, он спросил, не налить ли мне еще вина. Мне бы холодного пива, сказал я. «В стакане?» – уточнил он, внезапно напомнив мне, что пиво можно пить и не из стакана. «Лучше в бутылке». Возникла такая причуда. Выпью пива, причем из бутылки, порадуюсь в одиночестве, будто и не надо мне думать про ее образ, плавающий перед глазами, ладно, как есть, так есть. Он кивнул, а потом, взяв краткую передышку посреди очень, видимо, тяжелого вечера, глянул туда же, куда и я.

- Изумительный вид, верно?
- Да, великолепный.
- Что-нибудь к пиву желаете?

Я покачал головой. Вспомнил Манкевичей и постановил: никаких закусок. При этом меня тронули его забота и предусмотрительность.

– Орешков, пожалуй.

– Сию минутку, все принесу.

А потом, уже почти дойдя до балконной двери, он повернулся ко мне – в руках поднос с пустыми бокалами:

– Все в порядке?

Выходит, вид у меня действительно сокрушенный, если даже официант решил поинтересоваться, как у меня дела. А может, решил убедиться, что я не прыгну вниз, – распоряжение заказчика: приглядывайте там, чтобы никто не наделал каких глупостей.

Парочка, стоявшая на другом конце балкона, глядя на южную оконечность Манхэттена, похихикивала. Он положил руку ей на плечо, а другой умудрился поставить заново наполненный бокал на балюстраду. Я заметил, что в той же руке он держит сигару.

– Майлс, ты со мной флиртуешь? – спросила она.

– Если честно, не знаю, – ответил он жизнерадостно.

– Раз не знаешь, точно флиртуешь.

– С тобой никогда не поймешь.

– Если честно, я и сама не пойму.

Я улыбнулся. Официант посмотрел вокруг – нет ли брошенных бокалов и пепельниц, а потом застыл на месте, едва ли не с мыслью перекурить. Я посмотрел, как он одет: темно-синий шейный платок и крикливо-желтая рубашка с рукавами, закатанными до самых бицепсов, – очень странная форма.

– Пиво! – воскликнул он с упреком, будто пренебрег очень важным поручением, – и пошел дальше собирать пустую посуду.

На самом деле мне не хотелось пива. Не для меня эта вечеринка. Надо уйти.

А что еще хорошего ждет меня этим вечером? Автобус, снег, пешком до самой Сто Двенадцатой улицы, последний взгляд на собор – как среди снегопада внутрь вливаются посетители полуночной мессы, потом – закрыть книгу этого вечера. Она что-то говорила о том, чтобы пойти сегодня на мессу. Я представил себе стремительную прогулку до собора, музыку, пальто, плотную толпу внутри, Клара и друзья, Клара и компания, все мы сбились в кучку. Вернемся на вечеринку, предложила бы она. И даже Ролло согласился бы: да, вернемся.

Лучше уйти сейчас, пока никто не затащил меня на ужин, подумал я, прочь с балкона, снова наверх, проскользнуть в гардероб, вручить номерок и смыться так же незаметно, как и пришел.

Но сделать шаг к двери я не успел – она отворилась, и вошел официант, принес еще вина и мне – бутылку пива. Вино он поставил на стол, потом зажал пиво между ног и одним движением сорвал крышку. Майлсу с его подружкой он принес по мартини.

Тут в последний раз я увидел луч прожектора, вращавшийся над Манхэттеном. Полчаса назад я стоял здесь с Кларой и думал про Белладжо, Византию, Санкт-Петербург. Локоть опирался на мое плечо, замшевые туфельки аккуратно смахивали снег, «Кровавая Мэри» на перилах – все это было! Что же случилось с Кларой?

Я забыл, дал ли я молчаливое согласие дожидаться ее на балконе. Действительно холодало – а кто знает, может, попросив меня подождать, она в небрежном стиле вечеринки либо упорхнула куда-то как бы ненароком, либо определила меня на роль человека, о котором забыли, а он ждет, томится, надеется.

Наверное, уйти с балкона я в итоге решил просто ей назло. Чтобы доказать, что ничего из этого не выйдет, что с самого начала не питал никаких надежд.

Когда я наконец пробился по лестнице наверх, оказалось, что толпа как минимум утроилась. Все эти люди, весь этот гул голосов, музыка, блеск, все эти богатые-и-знаменитые еврос-

нобы – вид такой, будто они только что вышли из частных вертолетов, приземлившись на неведомую посадочную полосу на перекрестке Риверсайд и Сто Шестой улицы. Я внезапно сообразил, что те шикарные, припаркованные в два ряда лимузины, вытянувшиеся до самого Бродвея, и вспять, и вообще по всему кварталу, привезли гостей, направлявшихся именно на нашу вечеринку, не на другую, а значит, я все это время находился именно на той вечеринке, на которую хотел попасть вместо этой. Загорелые женщины в крикливой бижутерии, цокающие шпильками по паркету, щеголеватые молодые люди, маячившие по залу в модных черных костюмах и густо-бежевых рубашках с расстегнутыми воротниками, мужчины постарше, пытавшиеся походить на молодых за счет костюмов, про которые их расфранченные новые жены говорили, что они их сильно молодят. Банкиры, бимбо, барби – кто все эти люди?

Официанты и официантки, дошло до меня наконец, все были блондинами и блондинками модельной внешности, а одеты на самом деле в форму: ярко-желтая рубашка с высоко закатанными рукавами, широкие и пышные синие шейные платки и очень тесные, очень низко сидящие брюки-хаки с легкомысленным намеком на слегка расстегнутую ширинку. Это смешение винтажа и китча породило во мне желание обернуться и обменяться с кем-то хоть словом. Вот только я тут никого не знал. Официанты же тем временем подгоняли целое море гостей к двум противоположным стенам большого зала, где на больших буфетных столах подавали ужин.

В тесном уголке за чайным столом сгрудились три старушки, точно три граи, у которых на всех один глаз и один зуб. Официант принес им три нагруженные едой тарелки и собирался разлить вино. Одна из дам протянула соседке что-то похожее на иглу. Проверка сахара в крови перед принятием пищи.

Я снова увидел Клару. Она прислонилась к одному из книжных шкафов в той же переполненной библиотеке, где раньше показывала мне свой бывший письменный стол и где, рискуя слишком сблизиться с тем, что я считал настоящей, заветной Klarой, я вообразил, как она пишет диплом, время от времени встает, снимает очки и бросает тоскливый отрешенный взгляд на гаснущий осенний день, что мерцает над Гудзоном. Сейчас я видел, что какой-то молодой человек положил ладони ей на бедра, тесно прижался к ней всем телом и целует ее в самую глубину рта, закрыв глаза в упрямом, назойливом, свирепом объятии. Вмешаться, пусть даже лишь только взглядом, представлялось навязчивым. Никто не смотрел, казалось, всем все равно. Но мне было не отвести глаз, особенно когда я заметил, что он не просто держит ее руками, а сжимает ей бедра под блузкой, касаясь ее кожи – как будто они сперва танцевали медленный танец, а потом остановились для поцелуя, а чуть позже я подметил подробность еще более неприятную и изумительную: это она его целовала, не он ее. Он просто откликнулся на движения ее языка, млел в его яром опаляющем пламени, подобно птенчику, что высасывает еду из материнского клюва. Когда объятье их наконец ослабло, я увидел, как она заглянула ему в глаза и с подчеркнутой томностью приласкала его лицо – ладонь медленно, плавно, благоговейно сперва огладила лоб, потом скользнула по щеке с такой душераздирающей нежностью, таким влажным касанием, что исторгла бы любовный порыв и из гранитной скалы. Если это хоть что-то говорило о том, как она ведет себя в постели, когда снимет алую блузку, сбросит замшевые туфельки и отдастся на волю чувств, тогда, до этого вот самого момента в своей жизни, я, видимо, вообще не понимал, что такое постельные ласки, зачем они нужны, как к ним подступиться, никогда ни с кем не спал и уж тем более ни в кого не был влюблен. Я им завидовал. Я их любил. А себя ненавидел за эту любовь и зависть. Но я не успел пожелать, чтобы они прекратили заниматься тем, чем занимаются, или позанимались этим еще немного, потому что он снова притиснул свой лобок к ее и поцелуй возобновился. Рука его нырнула к ней под юбку. Когда б то была моя рука. Когда б мне оказаться там, оказаться, оказаться.

Так-то она залегла на дно. Дурацкая отговорка. Все эти ее разговорчики про любовь и чистилище среди сумерек и пандстраха – история про любительницу вечеринок не выдержала проверки. Я подумал: ее трагическое мировосприятие окутано облаком застольной болтовни.

Она – всего лишь аховая девица, которая повторяет лошенные фразочки, подцепленные в частной школе мадам Дальмедиго для девиц с отклонениями.

– Знакомьтесь: Клара и Инки, – проворковала стоявшая рядом со мной женщина – видимо, она долго наблюдала, как я на них таращусь. – Они так всегда. Их личный прикол.

Я хотел было пожать плечами – в смысле, я такое и раньше видел и не стану орать при виде любовников, милующихся на вечеринке, но тут осознал, что это не кто иная, как Муффи Митфорд. Мы разговорились.

Только, видимо, из-за того, что я слегка перебрал, я повернулся к ней и ни с того ни с сего спросил, не зовут ли ее случайно Муффи. Да, именно! Как я догадался? Я прибегнул ко лжи и пояснил, что в прошлом году мы встречались за ужином. Лживые слова выскочили с удивительной легкостью, но дальше, слово за слово, оказалось, что у нас действительно есть общие знакомые и, к вящему моему изумлению, мы и впрямь как-то раз встречались за ужином. А с Шукоффами она знакома? Нет, первый раз слышит. Хотелось поскорее рассказать Кларе.

И тут я увидел издали, что она мне машет. Не просто машет – она направлялась в мою сторону. Глядя, как она подходит, я понял, что, вопреки всем своим противоположным зарекам, уже простил ее. Я не мог определить природу этого чувства – смесь паники, гнева, вспышка надежды и предвкушения столь причудливая, что опять, и без всякого зеркала, я понял по напряжению своего лица, что улыбаюсь от уха до уха. Я попытался укротить улыбку, подумать о чем-то другом – грустном, отрезвляющем, – но едва мысль наткнулась на Муффи и ее пояс плодородия, как я едва не расхохотался.

Неважно, что Клара исчезла, а я надул ее, не дождавшись на балконе. Мы – как два человека, что столкнулись случайно через два часа после того, как продинамили друг друга, – и ничего, вроде как все в полном порядке. Я убеждал себя, что плевать мне на их поцелуи, потому что пока я ни на что не надеюсь и могу не думать о том, как бы втянуть ее в свою жизнь, можно просто наслаждаться ее обществом, смеяться с ней, обнимать ее за талию.

Я напоминал – и понял это уже тогда – наркомана, который твердо решил избавиться от вредной привычки, чтобы время от времени забивать косячок, не страдая из-за того, что это вредная привычка. Я именно ради этого и бросил курить: чтобы время от времени наслаждаться сигареткой.

Клара подошла ко мне сзади и собиралась что-то прошептать на ухо. Я ощущал след ее дыхания на шее и уже приготовился было чуть податься в направлении ее губ. Она поиздевалась над Муффи, а потом стиснула мое плечо, будто насмешливо намекнув на тайный сговор между нами, чтобы вызвать у меня усмешку.

– Твои близняшки – просто само очарование, – изрекла Клара. Я видел, что это чистая издевка.

– Ох, действительно, – согласилась Муффи. – Прелестные девочки.

– «Прелестные девочки», – передразнила Клара, на сей раз коснувшись губами моего уха – раз, другой, третий. – Зашибись какие прелестные.

На ее дыхание отреагировали абсолютно все части моего тела. Те, кто ложится с ней в постель, наслаждаются ее дыханием целую ночь.

– Мы их называем *le gemelline*<sup>8</sup>, – сообщила Муффи, произнося итальянские слова с тяжелым американским акцентом.

– Ну ни хрена себе, – продолжала Клара шепотом в мое ухо.

Гости тем временем начали проталкиваться к буфету. Муффи того и гляди поглотит толпа.

– Надо уходить с дороги, а то растопчут. Я знаю короткий путь.

– Короткий путь? – переспросил я.

<sup>8</sup> Близняшки (*ит.*).

– Через кухню.

Пабло, углядевший Клару, сигналил из другого скопища гостей. Она сообщила ему, что мы двинемся на кухню с противоположной стороны. Судя по всему, они это проделывали и раньше. Встретились мы в оранжерее.

Я подумал про Инки – мне пришло в голову, что Кларе захочется к нему вернуться. Но его нигде не было. И она даже не искала его глазами.

– А где человек из окопов? – осведомился я наконец, старательно показывая жестами, что присоединяться к ней за ужином не собираюсь.

В ответ – пустота в глазах. Не поймет неуклюжей шутки или бросит на меня возмущенный взгляд, как только вспомнит наш общий язык? Пауза затянулась, я собирался уже сконфуженно засопеть и внятно произнести банальность, которую высказал намеком, – с объяснением она станет еще банальнее.

– Я про Инки, – сказал я.

– Я знаю, про что ты. – Молчание. – Дома.

Настал мой черед показывать своим видом, что я ее не понял.

– Инки поехал домой.

Она надо мной издевается? Или предлагает заткнуться? Не твое дело, отвали, не лезь? Или все еще пытается найти короткий путь к еде и полностью сосредоточилась на том, как нам попасть туда раньше других? Мне, однако, было понятно, что думает она не только о том, как пробиться к столам. Спросить, не случилось ли чего? «Придется подняться наверх через оранжерею и спуститься по другой лестнице к черному ходу в кухню». Пока она это произносила, я смотрел на нее. Хотелось держать ее за руку на винтовой лестнице, как я уже держал раньше, положить ладонь ей сзади на шею, под волосы, и высказать все, что распирает меня изнутри.

– Что?

Я покачал головой, в смысле «ничего», имея в виду «всё».

– Не смей! – отрезала она.

Вот оно – слово, которого я страшился весь вечер. Оно маячило на дальнем фоне моих намеков на Белладжо. И вот наконец прозвучало, низринув Белладжо, рассеяв свет прожектора, разбив иллюзии розовых садов и воскресных любовников, заплутавших в снегах. *Не смей*. С восклицательным знаком или без? Скорее с ним. Или без. Ей, наверное, так часто приходилось это произносить, что восклицательный знак уже не нужен.

Когда мы пробирались по узкой лесенке, она наконец-то выпалила ответ на вопрос, который я так и не решился задать:

– Сегодня состоялось наше прощание, запрещающее скорбь.

Она смотрела мне за спину.

Сзади примчалась толпа подростков и проскочила вперед и вверх.

– Ты имеешь в виду Инки?

– На выход. Насовсем.

Мне стало жаль Инки. Вот он, человек, получивший от нее все доказательства любви, которые только существуют, а через миг она говорит о нем пренебрежительнее, чем о крысе. А не переигрывает ли она, делая вид, что ей решительно все равно? Или бывают такие люди: только они с вами покончили, как любовь их перекидывается в нечто непрощающее, так что самым мучительным становится не утрата любви и не та легкость, с которой вас вышвырнули, выдав сперва ключи от общего дома, а само это зрелище – как вас бросают за борт и просят тонуть потише, не мешая другим развлекаться. Это с ним и произошло? Вышвырнули, поцеловали, отправили на выход? Или она – такая странная дикая кошка, которая лижет вам лицо, чтобы вы не рыпались, пока она пожирает ваши внутренности?

Я видел его лицо, слегка склоненное набок, когда она приготавливалась к этому второму, более свирепому поцелую: все его тело превратилось в одно натянутое сухожилие. Через несколько минут она подошла ко мне и предложила вместе сбежать наверх.

– Наверное, отправился к своим родителям, в горы Дарьена. Я сказала ему: садиться за руль в снегопад опасно. А он: мне наплевать. И если честно...

Мы поднялись еще на несколько ступеней.

– Я так от него устала. Он здоровее некуда, а я ему совершенно не подхожу. Случаются дни, когда – честное слово – мне хочется одного: пойти в ванну, взять кусок пемзы и натереть ею щеки, чтобы он понял, что каждый день смотрит на мое лицо и при этом – без понятия, что там внутри, без понятия, без понятия. Из-за него я перестала быть собой, хуже того, утратила понимание, кто я такая.

Видимо, я бросил на нее испуганно-недоверчивый взгляд.

– Сквальжная злюка?

Я покачал головой.

– Я виню его даже в том, что он не смог заставить меня его полюбить – можно подумать, в этом его вина, а не моя. Я же изо всех сил старалась его полюбить. И все это время мне нужно было одно: любовь, не другой мужчина, не другой человек, даже не любовь другого человека. Наверное, я и про других не знаю, зачем они мне. Наверное, мне просто нужна романтика. Поданная охлажденной. Наверное, и так сойдет. – Она осеклась. – Тащи это в яму с пандстрехом.

Любительница вечеринок скованно улыбнулась.

Я стоял на ступеньку ниже ее на лестнице. Сходство между нами меня пугало. Одной иллюзии такой похожести было довольно, чтобы и перепугать меня, и внушить надежду.

– Расскажи еще.

– Больше нечего рассказывать. Был период, когда в моей жизни погас свет, и я подумала, что Инки сможет зажечь его заново. Потом поняла, что не сможет, он – лишь рука, отключившая тьму. Потом настал день, когда я поняла, что света не осталось, ни в нем, ни во мне. Я сочла виноватым его. Потом – себя. А теперь я люблю тьму.

– Затем и залегла на дно.

– Затем и залегла на дно.

Она отвела глаза.

– В этом и заключен мой ад, – прибавила она. – Инки нужна не я. Нужен человек вроде меня. Но не я. Я ему решительно не подхожу, да и себе тоже, если хочешь знать. Мужчинам всегда нужна не я, а кто-то вроде меня. – Короткая пауза. – И я в курсе.

Это звучало очень похоже на: «Учти это, дружок».

*В этом и заключен мой ад.* Ну и слова для любительницы вечеринок. *Человек вроде меня, но не я* – где можно научиться таким словам и таким прозрениям? Из опыта? Из долгих-долгих часов в одиночестве? Совместимы ли опыт и одиночество? Может, эта любительница вечеринок – затворница, прикидывающаяся любительницей вечеринок, которая на самом деле – затворница, вечные *rectus* и *inversus*<sup>9</sup>, будто в некой адской фуге?

*Я – Клара.* То же различие.

Она распахнула дверь. Этот балкон выходил на ту же часть Гудзона, что и тот, двумя этажами ниже, но на большей высоте. Она указала на узкий проход за оранжереей. Вид был действительно ошеломительный, потусторонний.

– Этого никто не знает, но, если я попрошу, он ради меня умрет.

Говорить такое.

– А ты просила?

---

<sup>9</sup> Прямой... обратный (*лат.*).

– Нет, но он каждый день предлагает.

– А ты ради него умрешь?

– Умру ли я ради него? – Она повторила мой вопрос, наверное, чтобы дать себе время подумать и найти правдоподобный ответ. – Я даже не понимаю смысла вопроса – значит, видимо, нет. Мне когда-то нравился вкус зубной пасты и пива в его дыхании. Теперь меня от этого вкуса тошнит. Мне когда-то нравились драные локти его кашемирового свитера. Теперь мне до него дотронуться страшно. Сама я себе тоже не больно-то нравлюсь.

Я слушал и хотел еще, но она умолкла.

– Ты только полюбуйся на Гудзон, – сказал я, пока мы стояли недвижно и молча смотрели на льдины.

Она только что говорила с непривычной серьезностью. Я дал себе слово запомнить ее такой. В оранжерее не было ни одной лампочки, и на один зачарованный миг, стоя, как мне казалось, на самой вершине мира, я вдруг захотел попросить ее постоять со мной и посмотреть, как наша серебристо-серая вселенная бредет сквозь пространство. Подмывало сказать: «Пожалуйста, побудь тут со мной». Я хотел, чтобы она помогла мне отыскать луч прожектора, а когда он отыщется – сказала бы, похож ли он на руку, пронизающую время, протянутую в прошлое, чтобы истаять среди лунного света в облаках, или это одно из тех редких мгновений, когда небо смыкается с землей и опускается к нам, дабы принять наш облик, и заговорить на нашем языке, и выдать нам ту порцию радости, что стоит между нами и тьмой. Ее, видимо, тоже поразило вид окоема, потому что она остановилась сама, взглянула на южную часть Манхэттена, и обхватить ее обеими руками под блузкой и поцеловать в губы мне захотелось из-за той поспешности, с которой она схватила мою руку, чтобы увести меня прочь, пробормотав с намеренной легковесностью: «Да, знаем-знаем, однажды в полночь Вечность видел я».

На кухне мужчина в темно-малиновом бархатном пиджаке что-то вещал в мобильник с крайне озабоченным видом. Увидев Клару, он поприветствовал ее гримасой без слов, а через несколько секунд сложил телефон, не попрощавшись, и явно ради нас обругал своего адвоката. Телефон он засунул обратно во внутренний карман блейзера, потом повернулся к повару: «Georges, trois verres de vin, s'il vous plaît<sup>10</sup>».

– Ну и вечеринка! – выдохнул он, отходя к столу для завтрака. – Нет, посидите со мной, мне нужно отдышаться. Такие вечеринки – реликты ушедшей эпохи!

Вечеринки он любит. Но такая мельтешня, и все эти немцы и французы, добавил он, прямо какая-то вавилонская башня.

– По счастью, у нас есть мы. И музыка.

Я понял, что именно музыка и связывает этот узкий дружеский кружок.

Мы все трое сели, а за спиной у нас суетились несколько поваров и несчетное число официантов. В углу двое легко опознаваемых блондинистых кряжистых отставных полицейских, заделавшихся шоферами и/или телохранителями, поедали выпренную и замысловатую вариацию на тему лазаньи.

Ганс посмотрел на нас, сдержанно указал пальцем на Клару, потом на меня, потом снова на Клару, будто интересуясь: «А вы вместе?»

Она улыбнулась тусклой сдержанной улыбкой очень молодой юристки, которой вот прямо сейчас пора в зал суда, а тут секретарша сообщает, что звонит ее мама. Улыбка – я это понял через несколько секунд – была эквивалентом стыдливого румянца. Клара закусила губу, будто бы говоря: «Я с тобой за это сквитаюсь, только попадись». И тут же сквиталась.

– А у тебя все хорошо, Ганс?

– Все хорошо, – пробормотал он, а потом, подумав: – Нет. На самом деле нехорошо.

---

<sup>10</sup> Жорж, три бокала вина, пожалуйста (фр.).

– Бурчишь?

– Да не бурчу, просто всё дела, дела. Иногда я говорю себе, что нужно было остаться простым бухгалтером при музыкантах, обычным незамысловатым бухгалтером. Иные так и хотят меня погубить. И если так дальше пойдет, у них получится.

А потом, будто чтобы стряхнуть душное облачко жалости к самому себе:

– Я – Ганс, – произнес он, протягивая мне руку.

Говорил он медленно, будто по одному слову на абзац.

Тут до Клары, видимо, дошло, что я не знаком с Гансом, а Ганс – со мной. На сей раз она представила нас официально, хотя и не удержалась от замечания, что чувствует себя полной идиоткой, потому что приняла меня за знакомого Ганса, а я на деле – знакомый Гретхен.

– Но я не знаком с Гретхен, – поправил ее я, пытаюсь показать, что с самого начала никого не собирался обманывать, так что сейчас самое подходящее время все прояснить.

– Но тогда кто... – Клара не придумала, как сформулировать вопрос, и за помощью повернулась к Гансу.

Я подумал, что вот прямо сейчас двое могучих бывших полицейских – едоков лазаньи прыгнут на меня, заломят руки, прижмут к полу, прикуют наручниками к кухонному столу и будут держать, пока не явятся их подельники с квадратными челюстями из Двадцать четвертого отделения.

– Я здесь потому, что Фред Пастернак прислал мне эсэмэской приглашение и велел прийти. Разыграл, похоже. Я только сегодня ближе к вечеру узнал про эту вечеринку.

В попытках спасти свою честь и не оставить никаких сомнений в собственной порядочности я стал вдаваться в ненужные подробности – именно так и поступают лжецы, если обычная ложь не сработала. Я еще собирался добавить, что вообще не хотел идти сегодня ни на какую вечеринку – и вообще даже есть не хочу, а что до их колченогой плоскостопой супермодной толпы европейских мотыльков, слетевшихся на хозяев дома с уморительными именами Гензель и Гретель, так на них мне и вовсе начхать – так-то!

– Ты – знакомый Пуха Пастернака? – Выходит, они знают и его давнее прозвище. – Любой друг Пуха Пастернака здесь желанный гость.

Рукопожатие, ладонь на моем плече, весь этот ритуал «друзья по общей раздевалке».

– Он был близким другом моего отца, – поправил я. – Так оно правильное.

– Швейцарская солидарность, – пошутил Ганс – прозвучало похоже на клятву, которую дают на гимназическом английском брошенные мальчишки в послевоенном шпионском романе.

Тут наконец появился официант с бутылкой белого вина и принялся вытягивать пробку. Прежде чем налить Кларе в бокал, он повернулся ко мне и негромко спросил:

– Вам пиво?

Я тут же узнал его. Нет, на сей раз я буду вино.

Когда он отошел, я рассказал Гансу: этот официант уверен, что спас мне жизнь. Как так? – осведомился Ганс. Похоже, подумал, что я собираюсь прыгнуть с дватого этажа.

Я это все придумал. Отличная история, подумал я, хотя совершенно непонятно, зачем я ее придумал. Все рассмеялись.

– Ты ведь не серьезно? – спросила Клара.

Я хмыкнул. Человек, грозивший, что умрет ради нее, явно был не единственным.

– За Пуха! – предложил Ганс. – За Пуха и за всех вороватых стряпчих на этой планете, да приумножится род их. – Мы чокнулись. – Вот, раз, еще раз! – провозгласил он.

– И еще много-много раз, – откликнулась Клара – это явно был привычный тост в их мирке.

За Пуха, который, не посети его такая причуда, подумал я, мог и не переслать мне это приглашение, и не было бы вечера, который опутал мою жизнь такими чарами.

Я – Клара, я тебя обновлю. Я – Клара, я покажу что и как. Я – Клара, я отведу тебя туда и сюда.

Я смотрел, как один из поваров за спиной у Ганса открывает большие банки – похоже, с икрой. Он, кажется, злился на банки, на открывашку, на икру, на кухню – и выгребал оттуда ложку за ложкой. Его подход навел меня на мысль о Кларе. Она выгребет из вас все подчистую, подарит вам новую внешность, новое сердце, новое все. Но для этого придется вонзить в вас одну из этих открывашек, которые изобрели невесть когда, задолго до модели с колесиком: сперва – резкий прокол, а потом требующее сноровки, дотошное, терпеливое кровопускание, нажим и продвижение острого зазубренного лезвия вверх, вниз, вверх, вниз, пока оно не опишет круг и не отъединит вас от самого себя.

Больно будет?

Вовсе нет. Эта процедура всем страшно нравится. Больно – когда тебя вытащили, а рука, оторвавшая тебя от тебя, исчезла. А потом – ключ для вскрытия банок с сардинами, когда жестяная крышка скручивается, точно старая кожа при линьке, льнет к сердцу, как кинжал к убитому.

Я знал: чтобы изменить ход жизни, нужно больше чем вечеринка. Но даже без этой уверенности, да и без желания знать наверняка – мне было страшно, что я окажусь неправ, – без попытки оставить в мозгу кропотливые пометки для дальнейшего осмысления, я понял, что ничего не забуду, начиная от поездки в автобусе, тупелек, прохода мимо оранжереи в кухню, где Ганс указал сперва на нее, потом на меня, а потом снова на нее, от выдуманной истории про попытку самоубийства и угрозы провести вечер в камере до Клары, которая мчится в полицейский участок, чтобы вытащить меня оттуда прямо в рождественскую ночь, и выхода в ледяную стужу за стенами участка, где она спросит: «Больно было в наручниках, да? Ну давай разотру тебе запястья, поцелую тебя в запястья, твои запястья, бедные милые истрадававшиеся богоданные саднящие запястья».

И это я заберу с собой, как заберу и тот миг, когда Ганс, которому понадобилось сбежать с собственной вечеринки, попросил Жоржа, не будет ли тот *bien gentil*, не положит ли еду на три тарелки и не принесет ли их наверх, *dans la serre*<sup>11</sup>. Ибо в этот миг я понял, что мы отправимся в оранжерею и я окажусь ближе, чем был когда-либо, к Кларе, лучу прожектора, звездам.

– Однако, – заявил Ганс, вставая и выпуская нас из кухни впереди себя, – готов поклясться, что вы знакомы уже давным-давно.

– Вряд ли, – сказала Клара.

Я не в первую же секунду понял, что ни она, ни я не верим в то, что знакомы лишь несколько часов.

Ганс зажег свет в оранжерее. Там на застекленной полуверанде-полутеплице нас дожидался круглый столик с тремя тарелками, на которых замысловатыми арабесками была разложена еда. Поблизости стояло ведерко со льдом, кто-то поместил в него бутылку – горлышко ее опоясывала белая салфетка. Я с внутренним трепетом подумал: возможно, это одна из принесенных мною бутылок, с подачей их на стол повременили до настоящего момента. Здесь все происходит как по волшебству. Я развернул салфетку – внутри оказались серебряная вилка, серебряный нож и ложка с инициалами, выгравированными в пышном старомодном стиле. Чьи? – шепнул я Кларе. Его бабушки с дедушкой. Спаслись от нацистов. «Спасшиеся евреи, как и мои», – сказала она. Как и мои, хотел было я добавить, особенно после того, как развернул салфетку и припомнил родительские вечеринки в это примерно время года, где все перебирали с вином на дегустации, а потом мама говорила, что пора садиться ужинать. Позабывшие души, чьи пышные инициалы красовались на нашем столовом серебре, так и не пересекли

---

<sup>11</sup> Так любезен... в теплицу (*фр.*).

Атлантику и уж всяко не слышали про Сто Шестую улицу, про парк Штрауса и про все эти грядущие поколения, которые потом унаследуют их ложки.

Вокруг стояло три столика, накрытых, но без еды. Прекрасное место, чтобы завтракать каждое утро. Слева от меня красовался сухой букет: специи, лаванда, розмарин, повсюду – ароматы Прованса.

Я уставился на белую скатерть, крахмально-гладкую – похоже, что ее выстирали, отгладили и сложили очень старательные руки.

– Так как, напомните, вы познакомились?

– В гостиной.

– Нет, – сказала она, прежде чем снова утвердить свой локоть на моем плече. – В лифте.

Тут я вспомнил. Ну конечно. Я действительно заметил кого-то в лифте. Помню швейцара, который проводил меня до кабинки и, просунув крупную руку в форменной куртке за дверную панель, нажал нужную кнопку, и я ощутил себя одновременно важной птицей и бес-толочью в глазах женщины в темно-синем пальто, которая деловито топала, стряхивая с обуви снег. Я поймал себя на мысли: хорошо бы она оказалась среди гостей, – но желание увяло, когда она вышла несколькими этажами раньше. Я был до такой степени уверен, что больше никогда ее не увижу, что до меня решительно не дошло, что женщина, сидящая сейчас рядом со мной в оранжерее, – та самая, чьи глаза (теперь воспоминание возвращалось) смотрели на меня в упор, шипя нечто среднее между: «Даже и не думай об этом!» и «Мы чего, и не поболтаем, да?» Может, Клара представилась мне в квартире потому, что решила: лед был сломан еще там, в лифте? Или все хорошее происходит со мной только после того, как я сам от него откажусь? Или звезды сходятся правильным образом только тогда, когда мы слепы к их указаниям, или, как оно бывало с оракулами, язык их всегда темен?

А мы говорили в лифте? – осведомился я.

Да, говорили.

И что было сказано?

– Ты высказался в том смысле, что странно видеть на Манхэттене здание, где есть тринадцатый этаж.

Как она ответила?

А такая неуклюжая попытка познакомиться требует ответа?

А что, если бы я не спросил про тринадцатый этаж?

Вопрос Третьей Двери. А я тебе уже говорила – я с ними нынче пас.

Так она шла на другую вечеринку в том же здании?

Она в том же здании живет.

*Я здесь живу.* В первый момент это прозвучало как «Я здесь живу, тупица». Но потом я разом сообразил, что это прозвучало как очень интимное признание, как будто я своим вопросом загнал ее в угол, причем угол этот – те самые четыре стены, в которых протекает ее жизнь, с Инки, там ее одежда, сигареты, пемза, ноты, обувь. Она живет в этом доме, подумал я. Вот где живет Клара. Даже ее стены, от которых у нее нет тайн и которые слышат всё, когда она остается с ними четырьмя наедине, разговаривает с ними, потому что они далеко не так глухи, как это принято считать у людей, знают, кто такая Клара, тогда как я, Инки и все те, кто причиняет ей *муки-мученские*, не имеют ни малейшего понятия.

*Я здесь живу.* Как будто она наконец-то призналась в чем-то, чего я никогда бы не узнал, не будь она вынуждена об этом сказать, – отсюда слегка обиженное подвывание в голосе, в смысле: «Да я и не делала из этого тайны, чего ж ты раньше не спросил?»

Но тут все вдруг предстало иным. А вдруг Инки отправился туда, домой, а не отбыл в Дарьен? Может, сидит внизу и дуется? Где ты все это время была? Наверху. А я ждал, и ждал,

и ждал. Так не надо было уходить с вечеринки. А ты знала, что я буду ждать. Чего ж ты не поехал в Коннектикут? Слишком сильный снегопад. Переночуешь нынче? Угу.

– Минутку, – сказал Ганс. – Вы хотите сказать, что пили вместе и при этом не знали, что уже познакомились в лифте?

Я кивнул – беспомощно, неубедительно.

– Не верю.

Я почувствовал ток крови в кончиках ушей.

– А он покраснел, – во всеуслышание прошептала Клара.

– Краснеть – не обязательно значит что-то скрывать, – заметил я.

– «Краснеть – не обязательно значит что-то скрывать», – с обычной своей расстановкой повторил Ганс, придав моим словам шуточный оттенок. – Будь я Кларой, я бы принял это за комплимент.

– Гляди, он опять покраснел, – объявила Клара.

Я знал, что, если начну это отрицать, приливы румянца хлынут целой лавиной.

– Краснеют, бледнеют, немеют. Такие уж вы, мужики.

Я хотел было возразить, но повторилась прежняя история. В разгар перепалки я принял сухарик за ломтик суши, лежащий на слое риса, обмакнул его в какой-то соус и отправил в рот еще один кусочек перченого ада. На сей раз Клара даже не успела меня предостеречь. Едва я его прикусил, стало ясно, что это не тесто, не сырая рыба и не квашеная капуста, а нечто совсем другое, угрюмое и злонравное, оно запустило процесс, который будет тянуться очень долго, возможно, всегда. А я, кроме прочего, страшно ругал себя, потому что в первый же момент понял: нужно немедленно его выплюнуть, даже если во всей оранжерее и выплюнуть-то некуда, кроме моей салфетки. Но, сам не зная почему, решил вместо этого его проглотить.

Это оказалось хуже пожара. Оно уничтожало все на своем пути. Мне внезапно предстала вся моя жизнь и мое будущее. Я почувствовал себя человеком, который проснулся среди ночи и под покровом тьмы обнаружил, что почти все часовые, которых он обычно выставляет при свете дня, бросили его – ведь они лишь нищие оборванные носильщики, которым вечно недоплачивают. Чудища, которых он днем держит на привязи, предстали нестреноженными рыкающими драконами, и прямо перед собой он видит, обливаясь потом под одеялом, – как человек, открывший среди ночи гостиничное окно и разглядывающий незнакомый вид на опустевшую деревню, – сколь безрадостна и безжалостна его жизнь, он вечно промахивал мимо цели и ломился напролом, блуждал, точно корабль-призрак, от гавани к порту, никогда не заходя в ту единственную бухту, где, как он знал, находится дом, потому что в самый глухой час этой судьбоносной ночи он внезапно постиг еще одну вещь: что сама мысль о доме – не более чем затычка, всё – одни сплошные затычки, даже мысль – затычка, в том числе – истина, радость, влюбленность и сами слова, с помощью которых он пытается удержаться на ногах всякий раз, когда земля начинает уходить из-под ног, – всё до единого затычки. Что я такое сделал, спрашивает он, сколь безрадостны мои радости, сколь поверхностны лукавые экивоки, которые уводят меня от моей собственной жизни и превращают ее в чью-то другую, что я такое сделал: пел не с той ноты, строил фразы не в том времени, на языке, который внятен всем моим собеседникам, а вот меня ничуть не трогает?

Кто он такой – открывший окно посмотреть на Белладжо, одинокий в ночи, и нет свидетелей – ни его собственной тени, ни хора из фонарей с объятами пламенем головами, ни человека, который спит сейчас в своей постели и понятия не имеет, на что таращится с такой тоской в сердце, – может, настоящая жизнь на другом берегу, жизнь совсем рядом, жизнь, на которую мы только смотрим и привыкаем к мысли, что на нее только и можно смотреть, ею нельзя жить, жизнь, которой никогда не случится, потому что, пусть нам оно и неведомо, она – как взгляд с берега смерти на землю живых? Кто он такой – говорящий лишь на том языке, от которого сам отрекся, живущий единственной жизнью, с которой постоянно лукавит?

Мне хотелось подумать про Муффи и двух ее *gemelline* – и попытаться заманить смех в сердце. Но смех не явился. Я чувствовал, что по щекам снова струятся слезы, и в страшной муке некогда было подумать, что именно их породило – боль, сожаление, благодарность, любовь, стыд, иступление, отвращение; я испытывал все эти чувства одновременно: страх расплакаться и позор плача, позор собственного позора и страх, что тело станет выдавать меня всякий раз, как я покраснею, поколеблюсь, выскажусь не к месту или не найдусь, что можно сказать вместо ничего – вечно я выискиваю нечто вместо ничего, нечто вместо ничего.

Вот, оказывается, к чему все это привело: этот миг, эти слезы, ужин в оранжерее, эта вечеринка, эта женщина, этот пожар в чреве, этот сад на крыше и стеклянный купол в совсем ином мире с баснословным видом на Гудзон в середине зимы, неутомимый небесный прожектор, который возникал снова всякий раз, стоило вам подумать, что кто-то наконец повернул выключатель, – вот и сейчас он скользил по небу, точно ленивый предвестник многих бесплодных земель в грядущем и бесплодных земель прямо за спиной, – и все это сводится к одному: если для кого-то быть человеком – врожденный навык, то для других – благоприобретенный, точно выработанная привычка или забытый язык, на котором говоришь с акцентом; так люди живут с протезами, потому что между ними и жизнью разверзся окоп, который не пересечь никакому мосту, никакому ворону, поскольку сама любовь – под вопросом, поскольку *те другие* под вопросом, поскольку некоторые из нас – и здесь, в оранжерее, мне кажется, что я из их числа, – зеленые представители сообщества гуманоидов, которых поселили среди землян. Мы это знаем, они – нет. И мы, помимо прочего, отчаянно хотим, чтобы они наконец-то об этом узнали – при этом не зная. А убивает нас в конце концов открытие, что они это знали всегда, потому что и сами чувствуют то же самое; именно поэтому знание, тогда служившее утешением, теперь – сплошное терзание, потому что в таком случае, говоря словами моего отца, надежды нет и все даже хуже, чем мы думали.

Сидя там – глаза все еще закрыты, – я думал только про страх, обнажившийся страх, страх дерзнуть и быть пойманным на дерзании, страх испытать безграничную надежду, но недостаточно безграничную, чтобы ради нее дерзнуть и совершить то, за что тебя потом поймают на брюзжании, страх выдать Кларе всю подноготную, страх никогда не заслужить прощения – страх выплюнуть этот кусок Манкевича так, будто он – ложка, которой я давился весь этот вечер, не зная, чем ее заменить, страх, что я продолжу жевать эту ложку и дальше, как делал всю свою жизнь, так что она утратила всю остроту вкуса и стала пресной, как и сама вода жизни.

– Как это ужасно, – долетели до меня слова Клары.

Я бросил на нее умоляющий взгляд – он говорил: дай мне еще несколько минут, не затевай перепалку прямо сейчас, не надо, дай отдышаться.

Неподалеку послышался гул голосов.

Ганс позвонил в колокольчик, чтобы принесли воды.

У меня ушло несколько секунд на то, чтобы сообразить, что я, похоже, грохнулся в обморок или произошло нечто в таком духе, потому что, когда я открыл глаза, оказалось, что кроме Ганса и Клары в оранжерее появились еще и другие и рассаживаются за соседними столами.

– Не говори, – предупредила Клара – так человека, лежащего на тротуаре, просят не шевелиться до прибытия скорой.

Официант уже принес стакан, доверху набитый кубиками льда, и протянул его Кларе. На лице ее вылепилось слегка нетерпеливое сосредоточенное выражение опытного мучителя, который прекрасно знает, что итоги допроса будут плачевны, и держит под рукой флакончик с нюхательными солями, чтобы узник очнулся для новой боли.

Я взял стакан обеими руками и начал отхлебывать короткими, задышающимися глотками, похожими на рыдания.

И следил за ее лицом. «Отхлебни еще раз», – будто бы говорила она, а потом еще, и еще раз – разговор с ребенком, а не с собутыльником. У нее было лицо измотанной дочери,

что сидит у постели тяжело больного родителя, а тот уже много недель отказывается принимать пищу. Еще секунда – и тот же скорбный озабоченный взгляд затвердел в рассерженный, она будто бы стяхнула меня пожатием плеч, но продолжает повторять надоевшие заботливые движения, пока не закончится смена.

Откуда такой поворот? Внезапная враждебность? И даже – притворное равнодушие? Или пикирование с Бэрил и Ролло на заднем плане, пока я умираю? Прекрати делать вид, что тебе все равно.

– Выпей еще воды. Пожалуйста, выпей.

И пока я пил:

– Что это с тобой такое? – спросила она. Ничего прекраснее она мне сказать не могла: «Что там с твоим ртом, погоди, дай потру тебе губы, дай поцелую тебя в губы, бедные милые истстрадавшиеся богоданные саднящие губы». Я бы принял жалость безоговорочно.

Наконец в глазах прояснилось. Рот продолжал гореть, я чувствовал, что губы распухли, но я хотя бы вновь обрел дар речи. Для сновидца, пережившего кошмар, это было подобно рассвету. Скоро забрезжит утро, все химеры отступят и растворятся в утренней росе, будто молоко в большой чашке теплого английского чая. Возможно, это еще не конец испытания – и часть моей души, пока я пытался как можно безоговорочнее оставить случившееся в прошлом, уже питала надежду, что не все завершилось, и начинала тосковать по смятенному и молчаливому взрыву паники и горя – я знал, что именно таков мой способ попросить ее взглянуть пристальнее на то, о чем любой вменяемый человек догадался бы просто с ходу.

Я будто бы наконец показал ей свое тело, заставил его соприкоснуться с ее телом. И каким бы неуклюжим ни был мой жест, я чувствовал то же облегчение, что и раненый боец, который во внезапном порыве хватает руку сиделки и прижимает к промежности.

– Лучше?

– Лучше, – ответил я.

И, обведя глазами всех тех, кто собрался более или менее вокруг нас, – некоторые держали тарелки и свернутые салфетки, а в них – столовое серебро из той эпохи, когда родители Ганса бежали из Старого Света, – я понял, что, невзирая на все их колкости и подшучивания по поводу моей реакции на закуску Манкевича, это все равно один из самых прекрасных вечеров за долгое-долгое время. Ганс, Пабло, Павел, Орла, Бэрил, Тито, Ролло – все мне неведомые.

Клара напомнила всем, что скоро пора отправляться к полуночной мессе.

– Всего-то на часик, – пояснила она.

На следующий год, предложил кто-то.

– Чего-то Инки не видать, – высказался Пабло.

– А он ушел. – Ролло явно решил прийти Кларе на выручку.

– Да-а-а-а, – протянула Клара, в смысле: «Так, чтобы больше не спрашивали».

– Поверить не могу. – Потом она мне объяснила, что это сказал Павел.

Кто-то тряс головой: «Клара и все эти ее мужчины!»

– Кто-нибудь хоть примерно представляет, как меня достали мужики – каждый со своим маленьким Гвидо, встающим по стойке смирно, точно водяной пистолетик...

– Помилуй господи, – произнес Пабло. – Клара опять со своим «Как меня достали мужики».

– Ты в том числе, Пабло, – рявкнула она. – Ты с твоей никчемной мелочовкой.

– Предлагаю не обсуждать мой душевой шланг. Он бывал в таких местах, куда ни один еще не засовывал свой Гвидо. Уж поверь.

– А он чего? – осведомилась сварливая Бэрил, имея в виду меня. – Он тебя тоже уже достал?

– Я вообще не хочу связываться *ни с кем* – ни этой зимой, ни в этом году; чем целоваться с мужчинами, лучше уж с женщинами. Лучше уж переспать с женщиной, чем позволить еще одному мужику дотронуться до тебя своей вонючей палкой.

И в доказательство она подошла к столу, где сидела Бэрил, уселась рядом, несколько раз коснулась ее лица губами, а закончила полномасштабным поцелуем. Ни та ни другая не сопротивлялась, обе закрыли глаза, и поцелуй, как бы дурашливо он ни начался, с виду казался невероятно страстным и совершенно обоюдным.

– Так-то! – произнесла Клара, выпроставшись еще до того, как Бэрил очухалась. – Все поняли?

Непонятно было, к кому из мужчин она обращается.

– А неплохо целуется, – похвалила Бэрил.

Поцелуй вышел свирепый. Как я понял, «залечь на дно» означало: «Я пока не готова, хочу домой, увези меня отсюда, хочу побыть одна, мне нужна любовь без других, отпусти меня обратно к моим стенам, моим крепким, верным, неколебимым стенам». Но вместо этого поцелуй получился безжалостный. Можем трахнуть, но любви не найдем, нет ее во мне – ни к тебе, ни к кому бы то ни было. Вот почему ты стоишь на моем пути. Она говорила со мной, теперь я в этом почти не сомневался. Даже твое терпение меня изводит. Все в тебе – молчание, такт, гребаная сдержанность, то, как ты даешь мне слабину в надежде, что я не замечу, – все это мне поперек души, не нужна мне любовь, так что отвяжись. Женщины снова поцеловались.

Когда поцелуй завершился, первым заговорил Ганс:

– Все это начинает смахивать на французское кино. Во французских фильмах все выглядит логично.

Пытаясь сделать вид, что их поцелуй ничего во мне не разбередил, я заметил, что не уверен. Французские фильмы – не про жизнь, а про романтику жизни. И не про Францию, а про романтику Франции. По большому счету, французские фильмы – про французские фильмы.

– Ответ прямо из французского фильма, – объявила Клара, возвращаясь к нашему столу; она говорила с нетерпением в голосе, будто имея в виду: «Хватит мне этих игр разума». – «Моя жизнь как французский фильм» – отличная мысль, – заявила любительница вечеринок, которой надоели игры разума. – Посмотреть его, что ли, сегодня. – А потом, подумав: – Нет, слишком много раз уже видела. Знакомый сюжет, знакомая концовка.

– Французские фильмы все про парижан, – заметил Ганс, – а не про евреев с Верхнего Вест-Сайда, страдающих несварением и глотающих антидепрессанты. – Повисло ошарашенное молчание. – А теперь, – добавил он, вставая и поворачиваясь ко мне, чтобы пожать руку, – *enchante*<sup>12</sup>. – Он двинулся к выходу из оранжереи. – Приходи Новый год встречать. Я серьезно. Только Монике ни слова.

– Кто такая Моника? – спросил я у Клары, когда он отошел и мы остались вдвоем за столиком.

– Его пассия-больше-не-пассия, – пояснила Клара.

Я задумался.

– А ты была его пассией?

– Могла стать.

– Но не захотела?

– Тут все сложнее.

– Из-за Гретхен?

– Гретхен бы меня подталкивала, не останавливала. «Из-за Гретхен» – скажешь тоже!

– Просто любопытно.

После паузы:

---

<sup>12</sup> Здесь: рад знакомству (*фр.*).

– Важная информация: женщины тоже страдают нимфибалентностью.

– А сейчас ты ее ощущаешь? – поинтересовался я, восхищаясь собственной смелостью, зная, что она обязательно поймет, что я имею в виду. – Потому как я в данный момент – нет, – добавил я.

– Это я знаю. – Так близко она ко мне еще не приближалась.

– Откуда?

– Просто знаю.

– Ты за словом в карман не лезешь.

– А то. Так поэтому я тебе и нравлюсь, да?

– Напомни мне мой зарок никогда не связываться с женщинами, которые не лезут в карман за словом.

– Когда именно тебе это напомнить?

– Прямо сейчас. Нет, не сейчас. Сейчас все слишком здорово, мне слишком хорошо.

А потом – больше я ничего не успел добавить – последовал жест из тех, которые способны изменить вашу жизнь. Она очень медленно поднесла ладонь к моему лицу, тыльной стороной, и погладила с обеих сторон.

– Я залегла на дно так глубоко, что тебе и не представить. Боюсь, не как в этом твоём рядском французском фильме. Говоря на журнальном языке, мне «вот столечко» осталось до душевного нездоровья.

Она почти что сомкнула большой и указательный пальцы.

– Может, не стоит читать журналы?

Пропустила мимо ушей.

– Можно скажу одну вещь?

– Валяй, – ответил я, чувствуя, как желудок завязывается в узел.

– Я сейчас абсолютно непригодна ни для кого, – объявила она, имея в виду: для тебя.

Я посмотрел на нее.

– По крайней мере честно. Ты ведь честно говоришь?

– Крайне редко.

– И это честно.

– Вряд ли.

После этого нас начали перебивать, Кларино внимание перетекло на других гостей – тут она и напомнила про полуночную мессу.

В собор Святого Иоанна мы вошли, когда служба уже давно началась. Никого из нас это не смущало. Мы просто влились в густую толпу, скопившуюся у входа, и стояли там, глядя, как другие блуждают по центральному нефу в поисках свободного места рядом с теми, кто уже уселся и причастился. Воздух был плотным от света свечей, музыки, хоругвей и шороха бесконечных шагов взад-вперед по центральному проходу.

– Пробудем минут десять, не больше, – постановила Клара, когда мы с ней добрались до выгороженного пункта медицинской помощи и двинулись вспять, протискиваясь сквозь толпу, – и наконец столкнулись с другими из нашей компании, они пробирались к поперечному нефу. – Напрасные евреи, – добавила она, имея в виду нас всех.

Мы отыскивали свободный уголок, где можно было прислониться к стене, в одной из сводчатых часовен и стали рассматривать туристов, вслушиваясь в звуки органа в стиле нью-эйдж, который пытался звучать вдохновенно.

Наверное, сочетание Клары, храма, снега, музыки, романтики во французском духе и свечей, которые все мы зажгли, загадав про себя желания, навело меня на мысль о фильмах Эрика Ромера. Я спросил Клару, видела ли она их. Нет, впервые слышу. Потом поправились: это у него персонажи только и делают, что говорят? Да, совершенно верно, ответил я. Доба-

вил, что на Верхнем Вест-Сайде как раз проходит ретроспектива Ромера. Она спросила где. Я ответил.

– Для кого-то из этих туристов это, наверное, волшебное действо: приехать аж в самый Нью-Йорк бог весть откуда и попасть прямо на рождественскую мессу, – сказала она.

Она сколько себя помнит, столько сюда и приходила. Я вообразил ее вместе с родителями, потом – одноклассниками, любовниками, друзьями, теперь – со мной.

– Когда-нибудь поперечный неф откроют, и этот собор наконец-то будет достроен. – Я вспомнил, что читал где-то: у собора закончились средства, уволили всех резчиков, каменщиков, убрали инструменты. Через сто лет, может, и начнут – а может, не начнут – достраивать.

– Человек, который положит последний камень, пока даже не родился.

То были последние слова любительницы вечеринок, после чего она собрала всех и погнала к центральному входу. Вот что нужно, чтобы оценить масштаб, подумал я. Газовые рожки прошлого века и последний резчик – через век после нынешнего. Чувствуешь себя совсем, совсем ничтожным: наши пересуды, вечеринка, невысказанные укоры и упреки, ночь на балконе с видом на луч, который пробирается сквозь серебристо-серую ночь, а мы ведем разговоры о вечности – сто лет спустя кому это будет ведомо, интересно, актуально? Мне. Да, мне – точно.

Когда мы зашагали по снегу обратно, они с кем-то из нашей компании, мне еще незнакомым, вырвались вперед, схватившись за руки, а потом принялись швырять друг в друга снежками. В сторону от центра машин совсем не было, поэтому мы шли собственно по Бродвею, чувствуя себя выдающимися пешеходами, вернувшими себе власть в городе. Наконец, перед самым входом в парк Штрауса, Клара вернулась ко мне, взяла меня под руку и потребовала, чтобы мы вместе прошли через парк – любимое ее место на всем свете, как она сказала. Почему? – спросил я. Потому что он в самом центре всего и по сути нигде, в ином измерении – укромный, потайной, ни с чем не соприкасающийся, приватный альков, куда заходишь, чтобы повернуться к миру спиной. Или залечь на дно, сказал я, пытаюсь подшутить над ней, над нами, даже над памятником Памяти, которая тоже, сказала она, залегла на дно. Действительно, статуя крепко задумалась, ушла в себя, окутанная «колючим, яростно-белым снегом в вихре пурги» Хопкинса. Хочется рюмку крепкой водки, чтобы топила лед, сказала она, когда мы выходили из парка. А потом – что-нибудь сладкое, типа десерта. Да, типа Хопкинса, добавила она. Почему я сегодня так счастлив? – хотелось мне спросить. Потому что ты меня влюбляешься, а мы следим за процессом, ты и я. В очень замедленном темпе. Да кому это ведомо? – спросишь. Ведомо мне.

Мы все набились в лифт, сбросили пальто в гардеробе и помчались наверх, обратно в оранжерею. Со столов убрали, перекрыли их к десерту, поставили новые бутылки. Когда всем налили водки, я решил выдержать паузу и, когда нас повторно обнесли десертом, начать подавать знаки, что мне пора уходить. Был уже третий час ночи. Чем старательнее я изображал скрытое беспокойство, намекая на скорый уход, тем сильнее мне хотелось его ускорить. Наверное, на деле я просто очень хотел, чтобы Клара заметила и попросила меня остаться.

Так в итоге и произошло.

– Ты правда уходишь? – Как будто она совершенно случайно подумала про такую немислимую вещь.

– Как, уже уходишь? – воскликнул Пабло. – Ты же только пришел!

Я благожелательно улыбнулся.

– Я, – это «я» было густо подчеркнуто голосом, – налью ему еще выпить. – Это Павел. – Нельзя же уходить на пустой желудок.

– Да, такого мы не допустим, – согласилась Бэрил.

– Так ты уходишь или остаешься? – поинтересовался Пабло.

– Остаюсь, – сдался я, зная, что это не сдача, я поступаю так, как и хотел.

– Хоть с чем-то определился, – произнесла Клара.

Как мне нравятся эти люди, оранжерея, островок вдали от всего и всех, что я знаю. Укрыться от времени. Пусть так длится вечно.

– Вот, – сказал Павел, протягивая мне вместительную стопку. Я собирался ее взять, но он слегка отвел ее, пришлось чуть приблизиться – и тут он чмокнул меня в щеку. – Не удержался, – объявил он во всеулышание. – Кроме того, *он* будет страшно ревновать, а я обожаю, когда Паблито ревнует.

– Нужно немедленно ввести противоядие, – заявила Бэрил. – Вопрос, позволит ли он.

– Может, и позволит.

– Наверняка, – сказала Клара с подчеркнутым равнодушием, разбередившим меня еще сильнее.

– Прежде чем погружаться, нужно спросить разрешения, – хихикнула Бэрил.

– Да не ты ему нужна. Впрочем, именно поэтому он и позволит тебе поцеловать себя так же, как она поцеловала тебя – во весь фронт, да еще и с трепетом. – Опять Ролло.

– Так и кто ему нужен?

– Она, – заявил Ролло.

– А он мне нет, – фыркнула Бэрил.

– *Она* залегла на дно, – пояснила Клара, имея в виду себя.

– А *он* – на лед, – добавил я.

Мы переглянулись. Веселье и единомыслие в наших взвешенных, на первый взгляд трезвых словах.

– Кстати, – сказала она, – ты ведь так и не знаешь моего полного имени. Клара Бруншвикг, пишется не по-людски. И раз уж ты спросил – да, я есть в телефонном справочнике.

– А я спросил?

– Собирался. Или должен был. Под префиксом «Академия-2»...

Как она виртуозно меня считывает – а я пока вижу ее на самом поверхностном уровне.

Брууншвейг, Бруншви́г, подумал я про себя, как оно пишется? Брансвик, Бранчвик, Бушвик.

– Записать?

– Знаю я, как пишется Бранчвайг.

И вновь, хотя и неохотно, я показал жестами, что собираюсь уйти. При этом мое желание услышать, чтобы меня попросили остаться, было настолько очевидно, что хватило одного слова Пабло и Бэрил – и я снова уселся, а в руках у меня оказался очередной бокал чего-то там.

Бэрил скользнула мимо, потом остановилась передо мной.

– Ты на меня сердишься? – спросил я.

– Нет, но у меня к тебе счетец. Потом рассчитаемся.

В конце концов мы все спустились по винтовой лестнице – оказалось, что вечеринка в самом разгаре, все, кто наводнял гостиную, сгрудились вокруг пианиста с горловым голосом, который, похоже, на совесть отдохнул, вернулся на прежнее место и пел ту же самую песню, что и несколько часов назад. Елка стояла на месте. И миска с пуншем тоже. Вот здесь Клара сказала, что у меня потерянный вид. А вон там Клара и какой-то тип, представленный ею как Манкевич, попросили всех помолчать, встали на две табуретки и запели арию Монтеверди. Звучала она две минуты. Но ей предстояло изменить мою жизнь, мой взгляд на очень, очень многие вещи, как уже изменили меня снег, луч прожектора и пустой заснеженный парк. Короткая пауза – и певец с горловым голосом вновь принял эстафету.

В начале четвертого утра я наконец сказал, что все-таки должен уйти. Рукопожатия, объятия, чмок-чмоки. По пути в гардероб я отметил, что вечеринка и не думает заканчиваться. Про-

ходя мимо кухни, я уловил сладкий шоколадный, с примесью горячего масла запах – видимо, очередной эскадрон в бесконечном параде десертов или первый намек на ранний завтрак.

Бэрил дошла со мной до гардероба. Я потерял номерок, и гардеробщик впустил меня в просторное, до отказа забитое помещение вместе с Бэрил. Она тоже уходит? Нет, просто хотела попрощаться и сказать, как рада знакомству.

– Ты мне понравился, – завершила она, – вот я и подумала: а возьму и скажу ему об этом.

– Скажу ему? – Я понял, что улыбаюсь.

– Скажу, что смотрела на него и думала: если он об этом заговорит, я ему скажу. Завтра, протрезвев, я буду делать вид, что ничего не говорила, а сейчас сказать – проще некуда, но очень хочется, чтобы ты знал, – вуаля!

Я видел, что она сдает назад до упора. Я бы мог то же самое сказать Кларе.

Я промолчал. Вместо этого обнял ее за плечи и прижал к себе, облапив ласково и по-дружески. Но ей нужно было не дружеское объятие, так что я и оглянуться не успел, как уже затолкнул ее за одну из шатких перегруженных вешалок, а потом – еще дальше, в джунгли шуб, заполонивших комнату, точно неободранные туши на бойне, и там, за плотной стеной одежды, впился ей в губы, пустив руки блуждать по ее телу.

Никто нас не видел, да всем было все равно. Я знал, что ей нужно, и был рад показать, что знаю. Мы не сдерживались. Все произошло бы молниеносно.

– Слава богу, есть кому нас удержать, – произнесла она в конце.

– Наверное, – повторил я.

– Не наверное. Тебе это нужно не больше, чем мне.

Ни с ее стороны, ни с моей не было ни проблеска страсти, одно лишь сокодвижение.

Выйдя из гардероба со своим пальто, я увидел Клару – она с кем-то разговаривала в коридоре. Отчасти я даже хотел, чтобы она увидела нас вместе.

– Ты же знаешь, что она в тебя по уши втрескалась, – сказала мне Бэрил.

– Нет.

– Все это заметили.

Я прокрутил в голове весь вечер и не смог вспомнить хоть малейшего намека со стороны Клары на то, что она в меня втрескалась. Бэрил небось все выдумала, чтобы сбить меня с толку.

– Тебе точно пора? Я тебя повсюду искала, – произнесла Клара – в руке у нее был бокал.

– Чао, любовничек, – обронила Бэрил, оставляя меня наедине с Кларой – это сопровождалось кивком, целью которого было частично раскрыть нашу гардеробную тайну.

– Что это еще такое? – осведомилась Клара.

– Она, видимо, так привыкла прощаться.

– У вас там приключилось Вишнукришну-Виндалу?

– Чего?

– Неважно. Ты правда собрался домой в такую метель?

– Да.

– Сюда на машине приехал? В такую ночь такси явно не поймает.

– На автобусе, на нем и уеду.

– На М5, моем самом любимом. Пошли. Провожу до моей остановки.

– Я...

Так, опять я за свое, пытаюсь ее отговорить, хотя сам ничего не хочу сильнее.

Еще двадцать минут ушло на поиски Ганса и на прощания со всеми остальными.

Потом приехал лифт. Мы вошли в полном молчании – незнакомцы, гадающие, что бы сказать, отметающие одну тему за другой по причине их пустячности.

– Важная нимформация: это тринадцатый этаж, – сказала она, как будто речь шла о знакомом, о котором упоминалось раньше, а теперь мы проезжаем мимо его дома. – А тогда я вышла на десятом.

Она улыбнулась. Я – в ответ. Почему мне казалось, что еще такая минута – и я сломаюсь? Только бы поездка в лифте поскорее закончилась. При этом я знал, что нам остались считанные минуты, и мечтал, чтобы они длились вечно. Хотелось, чтобы она нажала кнопку «стоп» сразу после закрытия дверей и сказала, что забыла что-то, не подержу ли я для нее двери. Кто знает, куда бы нас это завело, особенно если бы кто-то из ее друзей заметил, что я дожидаюсь ее у открытой двери лифта – давай, снимай пальто, хватит уже этих твоих «мне пора, мне пора». Или старый скрипучий лифт мог застрять между этажами, поймать нас в ловушку темноты и превратить этот час в ночь, день в неделю – мы сидели бы на полу и открывали друг в друге то, чего не открыли за этот вечер, в темноте, ночь, день, неделю – сидеть и слушать, как домоуправ стучит по тросам и шкивам, а нам все равно, мы вернулись к «Белым ночам» и к Николаю Кузьмичу из Рильке, которому вдруг выдали такую пропасть времени, что можно транжирить его безоглядно, крупными купюрами или мелкими – тратить, тратить, тратить, и, подобно ему, я попросил бы о крупном займе и сделал так, чтобы лифт застрял бы навечно. Нам спускали бы еду, питье, даже радио. Наш пузырь, наша вмятинка во времени. Но лифт неуклонно спускался: седьмой, шестой, пятый. Скоро все закончится. Неотвратимо скоро.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.